SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Л. Мелынин
  - ГЛАВА I. НЕУДАЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ
  - ГЛАВА II. ГРУСТНОЕ ДЕТСТВО
  - ГЛАВА III. ТЯЖЕЛАЯ РАБОЧАЯ ЮНОСТЬ
  - ГЛАВА IV. ГУМАННАЯ ШКОЛА БЕЛИНСКОГО
  - ГЛАВА V. ПОЭТ НАХОДИТ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
  - ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НЕКРАСОВСКОГО ЛИРИЗМА
  - ГЛАВА VII НЕКРАСОВ, КАК ПЕВЕЦ ТРУДЯЩИХСЯ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ
  - ГЛАВА VIII. КРИТИКИ И ЧИТАТЕЛИ
  - ГЛАВА IX. ОБ ИЗДАНИЯХ НЕКРАСОВА
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30

Л. Мелынин
Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

Критико-биографический очерк Л. Мелынина (П. Ф. Якубовича).

С портретом Н. А. Некрасова, гравированным в Лейпциге Геданом.

ГЛАВА I. НЕУДАЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

25 июля 1839 года петербургский цензор Фрейганг подписал к выпуску в свет тетрадь стихотворений, имевших общий заголовок “Мечты и звуки”. Автору их было всего лишь семнадцать лет от роду, хотя перед тем он успел уже напечатать, за полной своей подписью – Н. Некрасов, целый ряд стихотворений в “Сыне Отечества”, в “Литературной газете” и в “Прибавлениях к «Инвалиду»”. Некоторые из этих юношеских опытов даже обратили на себя внимание любителей поэзии.

После цензурного разрешения можно было приступить к печатанию книги, но, как рассказывал впоследствии сам Некрасов, им овладели тревожные сомнения, и он решил показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашних поэтов – Жуковскому. Последний отнесся к юному собрату с теплым сочувствием, увидав в его стихах несомненные задатки поэтического дарования, однако печатать книгу не советовал. К сожалению, было уже поздно: среди знакомых Некрасова прошла на сборник его стихов подписка, и часть полученных от нее денег была израсходована.

– В таком случае, – сказал Жуковский, – не выставляйте, по крайней мере, полного вашего имени на книге. Ограничьтесь инициалами.

Совет этот Некрасов принял к сведению, и в начале следующего года “Мечты и звуки” явились в свет за скромной подписью Н. Н.

Книг выходило в те времена сравнительно немного, и круг вопросов, которых журналы имели право касаться, был до чрезвычайности узок; почти о каждой напечатанной книжке, как бы ничтожно ни было ее значение, непременно появлялись поэтому более или менее пространные рецензии. “Мечты и звуки” Некрасова не составили исключения из общего правила и вызвали целую кучу отзывов: в “Литературной газете”, в “Отечественных записках”, в “Современнике”, в “Северной пчеле”, даже в “Русском инвалиде” и в “Журнале Министерства народного просвещения” (из видных органов промолчал, кажется, один только “Сын Отечества” Полевого, быть может, потому, что на его страницах Некрасов по преимуществу печатал свои стихи). В “Журнале Министерства народного просвещения” стихотворец Менцов, очевидно знавший о возрасте автора книги “Мечты и звуки”, дал один из наиболее сочувственных отзывов: рецензент

исходил из того мнения, что при разборе сочинений столь юного поэта задача критики не в определении их литературной ценности и значения, а лишь в решении вопроса – есть ли у поэта признаки таланта, обещает ли он в будущем создать произведения, достойные внимания и памяти. “И потому да не дивятся читатели, – замечал Менцов, – если мы будем судить г-на Некрасова (критик считал возможным разоблачить инициалы. – *Авт.)* снисходительнее, нежели, может быть, следовало бы: похвалами умеренными и справедливыми мы имеем целью ободрить его прекрасный талант и поощрить к дальнейшим трудам в пользу отечественной словесности”. Далее рецензент осыпал похвалами отдельные пьесы сборника, защищал юного автора от возможных упреков в подражательности и, в заключение, предрекал Некрасову завидную известность и почетное место в истории русской литературы, под тем, впрочем, условием, если он будет “развивать свое природное дарование изучением творений поэтов, признанных великими от всего просвещенного мира, и чтением лучших Теорий Изящного”.

Такою же мягкостью проникнута была и коротенькая заметка “Современника”, написанная, вероятно, самим Плетневым:

> “Здесь не только *мечты и звуки,* как выразился поэт, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая в себе почти одни лирические стихотворения, исполнена разнообразия. В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовольствием. У г-на Н. Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихотворений”.

Плетнев, несомненно, тоже хорошо знал, кто скрывается под таинственными инициалами; но автор третьей рецензии, помещенной в “Северной пчеле”, прямо заявляет, что имя поэта ему “вовсе неизвестно”, что оно, “кажется, в первый раз является в нашей литературе”. И, тем не менее, подобно рецензенту “Журнала Министерства народного просвещения”, рецензент “Северной пчелы” начинает с положения, что снисходительность – одно из главных условий критики, имеющей перед собою первые опыты юношеского пера, особенно когда в них приметно дарование, которое впоследствии может развернуться; дарование же Н. Н., по мнению критика, не подлежит никакому сомнению и возбуждает самые приятные надежды. Как и Менцов, он ставит лишь на вид юному поэту необходимость “образовать свой талант долгим изучением искусства и беспрерывным наблюдением за

самим собою”.

Далеко не так легко и снисходительно отнесся к “Мечтам и звукам” анонимный критик “Литературной газеты” (где Некрасов не раз помещал перед тем свои стихи), а равно и Белинский в “Отечественных записках”. Оба отзыва до того сходны по мыслям, по тону и самому слогу, что и в первом из них можно было бы заподозрить перо Белинского (тем более что последний сотрудничал и в “Литературной газете”), если бы не существовало прямых указаний на принадлежность этой рецензии Галахову.

“Особенность подобных г-ну Н. Н. поэтов и писателей вообще, – говорилось в рецензии, – заключается в том, что они *суть нечто* до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений: тогда они становятся *ничто”*. “Название *Мечты и звуки* совершенно характеризует стихотворения г-на Н. Н.: это не поэтические создания, а *мечты* молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические”.

Почти то же и почти в тех же выражениях высказал и Белинский в “Отечественных записках”. Если проза может еще удовлетворяться гладкой формой и банальным содержанием, то “стихи решительно не терпят посредственности”. Читая такие стихи, вы чувствуете иногда, что автор их – человек несомненно благородный и искренний, но в то же время видите, что эти благородные чувства

> “…так и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и – скука. Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществить внутренний мир своих ощущений и идей и выводить вовне внутренние видения своего духа… Прочесть книгу стихов, встретить в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, – воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочесть о них в журнале известие, вроде: выехал в Ростов”.

Мы потому так подробно остановились на шуме, вызванном в литературе первым поэтическим выходом Некрасова, что шум этот, несомненно, оказал большое и существенное влияние на дальнейшую судьбу поэта. Авторитетный отзыв Белинского,

высказанный в марте 1840 года, сразу заглушил все сочувственные голоса, и о “Мечтах и звуках” установилось с тех пор прочное мнение как о книжке стихов до последней степени ничтожных и бесталанных.

“Интерес книжки в том, – читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (в статье С. А. Венгерова), – что мы здесь видим Некрасова в сфере совершенно ему чуждой, в роли сочинителя баллад с разными страшными заглавиями, вроде “Злой дух”, “Ангел смерти”, “Ворон” и т. п. “Мечты и звуки” характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы *низшей* стадиею в творчестве его, а тем, что они *никакой стадии* (курсив словаря. – *Авт.)* в развитии таланта Некрасова собою не представляют. Некрасов, автор книжки “Мечты и звуки”, и Некрасов позднейший – это два плюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе”.

На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал между тем самым угнетающим образом: с этого, по крайней мере, момента, как будто уверившись в своей поэтической бездарности, он в продолжение нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом – пытает силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной ценности литературное творчество его за пятилетие (1840–1844) является совершенно бесплодным. Другое дело – незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги: указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии. Об этом, впрочем, ниже; теперь же остановимся на минуту на возникающем невольно вопросе: насколько был прав или неправ Белинский в суровом осуждении первых поэтических опытов Некрасова? И верно ли держащееся до сих пор мнение, будто опыты эти не стоят решительно ни в какой связи с позднейшим обликом “музы мести и печали”?

Взятая сама по себе, книжка “Мечты и звуки”, несомненно, очень слаба, так что у Белинского (к тому же только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен) было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело – критика наших дней. Для нас “Мечты и звуки”, – если бы это была и действительно вполне бездарная в художественном отношении книга, – имеют интерес совершенно особого рода: это – первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне

любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зачаточном виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая “Мечты и звуки” с высоты почти семидесяти лет, мы должны признать чересчур суровым приведенный выше отзыв С. А. Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что в “Мечтах и звуках” Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих (не по заглавию только страшных) в книжке ничтожное меньшинство, всего две-три из общего числа сорока четырех пьес; а затем нужно заметить, что уже самая нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее раннему, отроческому периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, покидая шестнадцатилетним мальчиком отцовский дом, он увез с собою толстую тетрадь с *детскими* стихотворными упражнениями. (“За славой я в столицу торопился”, – вспоминал он на смертном одре). Это было 20 июля 1838 года, а с сентябрьской книжки “Сына Отечества” за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем написать незаурядное стихотворение “Жизнь”, и поместил-то эти баллады в свой сборник единственно ради внешнего его округления, а быть может, и ради… умилостивления безмерно строгой тогда цензуры. Следы ее властной руки можно найти в этом сборнике не только в виде разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении “Поэзия” читаем:

Я владею чудным даром,
Много власти у меня,
Я взволную грудь пожаром,
Брошу в холод из огня;
Разорву покровы ночи,
Тьму веков разоблачу,
Проникать земные очи
В мир надзвездный научу…
Возложу венец лавровый
На достойного жреца
Или в миг запру в оковы
Поносителя венца.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном тексте читался, по всей вероятности: “Я носителя венца”, и что печатной своей

нелепой формой он обязан мнительности цензора Фрейганга, которому всякий “венец” (хотя бы то был венец Нерона) казался чем-то неприкосновенным. Быть может, об этой именно остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов двадцать пять лет спустя, когда в уста не в меру ретивого стража печати вкладывал следующее признание:

Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд вас лишал.
Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: “Равнодушно
Губернатора встретил народ”,
Исключу я три буквы: “Ра-душно”
Выйдет… Что же? Три буквы не в счет![1]

Если заодно со “страшными” балладами исключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных *детских* стишков, вроде “Турчанки” (у которой кудри – “вороновы перья, черны, как гений суеверья, как скрытой будущности даль”) или “Ночи” (“Ах туда, туда, туда – к этой звездочке унылой чародейственною силой занеси меня, мечта!”), то большинство пьес книги окажется проникнуто весьма определенным взглядом на жизнь, на достоинство и призвание человека, поэта в особенности, – взглядом, который ни в каком случае нельзя назвать “полюсом, противоположным” позднейшей некрасовской поэзии.

Вот, например, диалог, в котором душа в ответ на соблазны тела гордо заявляет:

Прочь, искуситель! Не напрасно
Бессмертьем я освящена!
…
И хоть однажды, труп бессильный,
Ты мне уступишь торжество!

В другом стихотворении великолепный некогда, а теперь разрушенный Колизей находит утешение в мысли, что хотя он и погиб, но уже много столетий стоит, не обрызганный живой человеческой кровью. Или – стихотворение “Мысль”:

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый…

Скрой безобразье наготы Опять под мрачной ризой ночи! Поддельным блеском красоты Ты не мои обманешь очи.

Все это выражено, правда, по-детски, в неярких и подчас аляповатых стихах; однако сквозит во всем этом серьезное, вдумчивое отношение к жизни; уже и здесь перед нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся “всем впечатленьям бытия”, а мыслящая душа, предъявляющая к жизни свои требования и запросы.

Вот какие негодующие строки находим, например, в стихотворении “Жизнь”:

Из тихой вечери молитв и вдохновений
Разгульной оргией мы сделали тебя,[2]
И гибельно парит над нами злобы гений,
Еще в зародыше все доброе губя.
Себялюбивое, корыстное волненье
Обуревает нас, блаженства ищем мы,
А к пропасти ведет порок и заблужденье
Святою верою нетвердые умы.
Поклонники греха, мы не рабы Христовы;
Нам тяжек крест скорбей, даруемый судьбой;
Мы не умеем жить, мы сами на оковы
Меняем все дары свободы золотой.
…Искусства нам не новы:
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;
Мы любим лишь себя, нам дружество – оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же, что оне безумным нам приносят?
Презрительно смеясь над слабостью земной,
Священного огня нам искру в сердце бросят
И сами же зальют его нечистотой!
За наслажденьями, по их дороге смрадной,
Слепея, мы идем и ловим только тень;
Терзают нашу грудь, как коршун кровожадный,
Губительный порок, бездейственная лень.
И после буйного минутного безумья,
И чистый жар души, и совесть погубя,
Мы с тайным холодом неверья и раздумья
Проклятью предаем неистово тебя!

Стихи эти, правда, слишком явно навеяны страстным обвинением, которое великий поэт бросил перед тем в лицо русскому обществу (“Дума” Лермонтова появилась в том же 1839 году в январской книге “Отечественных записок”, то есть всего за полгода до цензорского разрешения сборника “Мечты и звуки”); и тем не менее нельзя отрицать, что в “Жизни” Некрасова слышится

и оригинальная нота, искренний религиозный пафос; некоторые стихи не лишены и известной красоты и силы выражения. Во всяком случае, так может “подражать” далеко не всякий семнадцатилетний стихотворец…

Самую миссию поэта юный Некрасов понимает в возвышенном, почти экзальтированном смысле:

Кто духом слаб и немощен душою,
Ударов жребия могучею рукою
Бесстрашно отразить в чьем сердце силы нет,
Кто у него пощады вымоляет,
Кто перед ним колена преклоняет,
Тот не поэт!

Кто юных дней губительные страсти
Не подчинил рассудка твердой власти,
Но, волю дав и чувствам, и страстям,
Пошел, как раб, вослед за ними сам,
Кто слезы лил в годину испытанья
И трепетал под игом тяжких бед,
И не сносил безропотно страданья,
Тот не поэт!

На Божий мир кто смотрит без восторга,
Кого сей мир в душе не вдохновлял,
Кто пред грозой разгневанного Бога
С мольбой в устах во прах не упадал,
Кто у одра страдающего брата
Не пролил слез, в ком состраданья нет,
Кто продает себя толпе за злато,
Тот не поэт!

Любви святой, высокой, благородной
Кто не носил в груди своей огня,
Кто на порок презрительный, холодный
Сменил любовь, святыни не храня;
Кто не горел в горниле вдохновений,
Кто их искал в кругу мирских сует,
С кем не беседовал в часы ночные гений —
Тот не поэт!

Не думаем, чтобы эти мысли были плодом одного только подражания романтической школе: в значительной степени это искренние юношеские мечты о высоком призвании писателя. Из

другого стихотворения (“Изгнанник”) мы узнаем, что уже рано действительность грубою рукою прикоснулась к светлым мечтаниям поэта и он “очутился на земле”.

Ты осужден печать изгнанья
Носить до гроба на челе, —
сказал ему тогда таинственный голос, —
Ты осужден ценой страданья
Купить в стране очарованья
Рай, недоступный на земле!
И поэт не теряет бодрости; он даже полюбил свой крест:
Теперь отрадно мне страдать,
Полами жесткой власяницы
Несчастий пот с чела стирать!

За туманно-романтической формой как будто чуется здесь и нечто автобиографическое (печальное детство; разрыв с отцом, бросившим юношу-поэта почти нищим на мостовой большого города), как будто слышится искренняя нота горделивой уверенности в том, что, и “очутившись на земле”, он не утратил стремления к идеалу: хотя бы “ценой страданья” он придет все же в обетованную землю!

Красавица, не пой веселых песен мне!
Они пленительны в устах прекрасной девы,
Но больше я люблю печальные напевы… —

читаем в другой пьесе, интересной в том отношении, что здесь впервые выступает образ матери Некрасова, воспетый им позже в таких чудных трогательных стихах. Унылый напев, объясняет поэт, в особенности мил ему потому,

Что в первый жизни год родимая с тоской
Смиряла им порыв ребяческого гнева,
Качая колыбель заботливой рукой;
Что в годы бурь и бед заветною молитвой
На том же языке молилась за меня;
Что, побежден житейской битвой,
Во власть ей отдался я, плача и стеня…

Следует еще отметить глубокую религиозность, характеризующую сборник “Мечты и звуки”. В каждом почти

стихотворении встречаем упоминание о Боге, о молитве, о необходимости “путь к знаньям верой осветить” и “разлюбить родного сына за отступленье от Творца”. Дух сомнения представляется Некрасову злым духом, и он советует не вверять сердца “его всегда недоброму внушенью”:

Порыв души в избытке бурных сил,
Святой восторг при взгляде на творенье,
Размах мечты в полете вольных крыл,
И юных дум кипучее паренье,
И юных чувств неомраченный пыл —
Все осквернит печальное сомненье!

Напомнив еще раз читателю, с какой точки зрения оцениваем мы “Мечты и звуки”, резюмируем теперь наше общее впечатление. Книжка эта является, по нашему мнению, не столько продуктом сознательного литературного подражания романтической школе, сколько зеркалом детски неопытной и наивной, но глубоко искренней, религиозно и поэтически настроенной юной души. Слабые в художественном отношении, стихи эти обнаруживают тем не менее богатый запас нетронутой душевной силы и свежего чувства. Позднейшему, знаменитому Некрасову, кроме плохой формы, положительно нечего в них стыдиться: по альтруистически возвышенному настроению своему “Мечты и звуки” являются именно подготовительной, “низшей стадией” его творчества, отнюдь не звучащей в нем диссонансом. И нам кажется, что знакомство с этой “детской” книжкой Некрасова делает менее странным факт “внезапного”, как обыкновенно думают, превращения посредственного рассказчика и куплетиста в первостепенного лирика.

Отметим в заключение одну любопытную черту, касающуюся внешней формы стихов сборника “Мечты и звуки”. Оказывается, что уже в эту раннюю пору Некрасов не питал такого исключительного пристрастия к ямбу, как Пушкин и поэты его школы: из сорока четырех пьес сборника ямбом написана лишь половина, другая половина – амфибрахием, дактилем и хореем (нет только излюбленного впоследствии Некрасовым анапеста). Встречаются уже и столь характерные для позднейшего Некрасова трехсложные рифмы:

Мало на долю мою бесталанную
Радости сладкой дано.
Холодом сердце, как в бурю туманную,
Ночью и днем стеснено.

В свете как лишний, как чем опозоренный,
Вечно один я грущу…

Довольно часты также рискованные рифмы, которыми поэт и впоследствии не брезговал: буду – минуту, слепо – небо, брата – отрада и т. п.

ГЛАВА II. ГРУСТНОЕ ДЕТСТВО

Мать и отец. – Исключение из гимназии

Кто же был этот юноша-идеалист, потерпевший такое жестокое крушение при первой же попытке выйти в треволненное литературное море?

Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года в каком-то захолустном местечке Винницкого уезда Подольской губернии, где квартировал полк его отца, поручика Алексея Сергеевича Некрасова, богатого ярославского помещика. Этот внешне блестящий и не лишенный природного ума офицер был, в сущности, заурядным армейцем двадцатых годов, выросшим в мрачных условиях крепостного права, – "красивым дикарем", едва умевшим подписать свое имя и больше всего на свете интересовавшимся картежной игрой, псовой охотой, женщинами и кутежами. Карты были, впрочем, родовой страстью Некрасовых: по семейному преданию, прадед поэта (воевода) и дед (штык-юнкер в отставке) проиграли в карты несколько тысяч душ крестьян; как известно, не чужд был той же слабости и сам поэт…

В 1817 году "красивым дикарем"-поручиком увлеклась, однако, красавица полька Елена Андреевна Закревская, и, так как родители последней, очевидно, неблагосклонно относились к этому увлечению, состоялся тайный увоз молодой девушки и тайный же брак. Такова семейная легенда, известная читающей России по стихам нашего поэта… Легенде этой как будто несколько противоречит ставшая теперь известной выписка из метрической книги Успенской церкви Винницкого повета[3] о браке "адъютанта-поручика 28-го егерского полка, 3-й бригады, Алексея Сергеева сына Некрасова греко-российского исповедания с дочерью титул, советника Андрея Семенова Закревского Еленою, *того же исповедания, по учинении троекратного извещения и по взятии обыска"*. На первый взгляд эта выписка категорически опровергает и предание о тайном, торопливо совершенном обряде венчания, и даже о польском аристократическом происхождении матери Некрасова… Но мы не решились бы на такой скороспелый вывод: ведь в православие Елена Закревская могла перейти перед самой свадьбой, – при желании священника это могло быть делом одного дня… И, при его же желании (а богатый офицер Некрасов без труда мог его вызвать), в метрическую книгу могли быть записаны также совершенно фантастические сведения об "учинении троекратного

извещения” и о “взятии обыска”… Как бы то ни было, пуская в свет “легенду”, поэт основывался не только на воспоминаниях раннего детства, но и на знаменитом “письме”, содержание которого он излагает в одной из задушевнейших своих поэм (“Мать”) и которое он, несомненно, держал в руках, уже будучи юношей:

Я разобрал хранимые отцом
Твоих работ, твоих бумаг остатки
И над одним задумался письмом.
Оно с гербом, оно с бордюром узким;
Исписан лист то *польским,* то французским,
Порывистым и страстным языком.

Брак родителей Некрасова, брак по страстной любви, оказался, к сожалению, несчастным… Прекрасно воспитанная, на редкость образованная по тому времени женщина, мать Некрасова была необычным, редким явлением в малокультурном русском обществе, случайной, экзотической его гостьей; напротив, отец, – не представлявший, правда, чего-либо исключительно чудовищного на фоне мрачной эпохи двадцатых-тридцатых годов, – был самым типичным тогдашним помещиком, в достаточной степени умевшим отравлять жизнь не только своим крепостным, но и собственной семье, хотя, надо сознаться, сын не пожалел темных красок для его обрисовки: дикарь, угрюмый невежда, деспот и даже палач – подобные характеристики так и мелькают в тех местах стихотворений и поэм Некрасова, которые посвящены воспоминаниям об отце.

Последний бросил военную службу, когда будущий поэт был еще очень мал. Некрасовы переселились после этого в родовое поместье Грешнево (Ярославской губернии), и здесь потекла та удушливая, мрачная жизнь, с которою мы так хорошо знакомы по “Родине”, “Несчастным”, “Матери” и другим поэмам и мелким стихотворениям. Отец бражничал или пропадал целыми днями на охоте, мать, оскорбленная и униженная в лучших своих чувствах, жила одинокой, замкнутой жизнью… Число детей быстро росло (у Некрасова было братьев и сестер тринадцать человек), но вместе с тем отношения родителей становились все холоднее и отчужденнее.

Твой властелин, – обращается поэт, уже умирая сам, к покойной матери, —

…наследственные нравы
То покидал, то буйно проявлял;

Но если он в безумные забавы
В недобрый час детей не посвящал,
Но если он разнузданной свободы
До роковой черты не доводил, —
На страже ты над ним стояла годы,
Покуда мрак в душе его царил.

А в “Несчастных” находим и более подробную картину семейной жизни (хотя, в общем, герой поэмы и не может быть отождествлен с автором, но изображение его детства и юности, несомненно, автобиографично):

Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо…
До солнца сели на коней —
Ушли… Орды вооруженной
Не видит глаз, не слышит слух.
И бедный дом, как осажденный,
Свободно переводит дух.
…
Осаду не надолго сняли…
Вот вечер – снова рог трубит.

Примолкнув, дети побежали, Но мать остаться им велит: Их взор уныл, невнятен лепет… Опять содом, тревога, трепет! А ночью свечи зажжены, Обычный пир кипит мятежно, И бледный мальчик, у стены Прижавшись, слушает прилежно

И смотрит жадно (узнаю
Привычку детскую мою)…
Что слышит? Песни удалые
Под топот пляски удалой;
Глядит, как чаши круговые
Пустеют быстрой чередой;
Как на лету куски хватают
И рот захлопывают псы…
…
Смеются гости над ребенком,
И чей-то голос говорит:
“Не правда ль, он всегда глядит
Каким-то травленым волчонком?
Поди сюда!” *Бледнеет мать;*

Волчонок смотрит – и ни шагу.
“Упрямство надо наказать —
Поди сюда!” – волчонок тягу…
“А-ту его!” Тяжелый сон…

Николай Алексеевич, первенец в семье, был, по-видимому, много старше своих многочисленных братьев и сестер, и одинокое детство его протекало в невыносимо душной нравственной атмосфере. Чтобы получить о ней понятие, достаточно прочесть “Родину” или другое стихотворение того же периода – “В неведомой глуши”, которое автор, по не совсем понятным для нас мотивам, не хотел признавать оригинальным. Первоначально стихотворение было озаглавлено “Из Ларры”, позже – “Подражание Лермонтову”, причем в авторском экземпляре сделано было такое примечание: “Сравни: Арбенин (в драме Маскарад). Не желаю, чтобы эту подделку ранних лет считали как черту моей личности”. И еще следовало ироническое добавление: “Был влюблен и козырнул”. То есть: порисовался демоническим плащом сильного, много испытавшего, во всем разочаровавшегося человека…

Позволительно, однако, усомниться в полной искренности этого примечания.

Сходство стихотворений с монологами Арбенина очень слабое, чисто формальное; самый мотив разработан в нем с такими пластически реальными подробностями и столь оригинально, что “подражанием” назвать эти стихи невозможно. Несомненно, что поэта смущали следующие строки его пьесы:

Я в мутный ринулся поток И молодость мою *постыдно и безумно В разврате безобразном сжег.*

И действительно, по отношению к личной его биографии это абсолютная неправда! Если и были в молодости Некрасова не совсем безгрешные увлечения, то, конечно, в ней было во сто раз больше непосильно тяжелого труда, мучений бедности, благородных юношеских стремлений… Начало стихотворения дает зато вполне верную картину растлевающего влияния на юную душу отцовского дома с его рабовладельческими нравами и инстинктами:

В неведомой глуши, в деревне полудикой,
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,[4]

И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.

Ведь это почти то же, что находим мы и в знаменитой “Родине”, где Некрасов несомненно уже говорит о самом себе:

И вот они опять, знакомые места,
…
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но ненависть в душе постыдно притая,
Где *иногда бывал помещиком и я*;
Где от души моей, *довременно растленной,*
Так рано отлетел покой благословенный
И не ребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег…

Какие тяжелые, поистине кошмарные воспоминания вынес поэт из своего детства, видно из заключительных строк той же “Родины”:

И, *с отвращением* кругом кидая взор,
С *отрадой* вижу я, что срублен темный бор…
После этого отнюдь не кажется преувеличением страдальческий крик:
Всему, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,
Всему начало здесь, в краю моем родимом!

По счастью, в том же родном краю и в том же раннем детстве Некрасова лежит начало и всему, что было благословением его жизни. Это – обаятельно-светлый образ рано умершей мученицы-матери, навсегда воплотившей для него идеал любви и гуманности! Без преувеличения можно сказать, что более трогательного, более поэтического образа не знает не только русская поэзия, но, быть может, и вся русская литература… Смягчая и просветляя мрачные звуки некрасовской лиры, образ этот не раз спасал и самого поэта от конечного падения…

Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, грудью своей
Защищая любимых детей.
…
Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно-светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения
Ты, чистейшей любви божество!
…
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал – и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Читатель, конечно, десятки раз перечитывал эту бесконечно трогательную молитву-жалобу – и, тем не менее, мы уверены, что он не посетует на нас за длинную выписку…

“Если бы Некрасов ни одной строки больше не написал,

кроме этого изумительного стихотворения, – говорит Н. К. Михайловский по поводу “Рыцаря на час”, – то оно одно уже обеспечивало бы ему “вечную память”; едва ли кто-нибудь, по крайней мере в молодости, мог читать его без предсказанных поэтом “внезапно хлынувших слез с огорченного лица”. Мне вспоминается один вечер или ночь зимой 1884-го или 1885 года. Я жил в Любани, ко мне приехали из Петербурга гости, большею частью уже немолодые люди, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том, о сем; потом кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя “Рыцаря на час”. И вот: комната в маленьком деревянном доме; на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большею частию немолодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и – обрывается: слезы не дали кончить… Простите, читатель, это маленькое личное воспоминание. Но ведь оно, пожалуй, даже не личное. По всей России ведь рассыпаны эти маленькие деревянные домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают (или читали?) “Рыцаря на час” и льются (или лились?) эти слезы…”

Для нас важно сейчас констатировать, что эта способность будить в читателях “благие порывы” в свою очередь заложена была в душу Некрасова его матерью. Полька по происхождению и воспитанию, против воли родителей вышедшая за русского офицера, после нескольких лет походной жизни она очутилась в чужой ей до тех пор, грубой обстановке захолустного помещичьего дома и здесь, окруженная “роем подавленных и трепетных рабов”, одинокая, оскорбленная, увядала, как та сказочная царевна, которую жестокий колдун держит и терзает в плену… Но в сказке, с горечью говорит Некрасов в своих “Несчастных”, придет благородный витязь, убьет злого волшебника и, бросив к ногам освобожденной красавицы клочья его негодной бороды, предложит ей свою руку и сердце… В действительности все было ужаснее. Без всякой надежды на освобождение, “любя, прощая, чуть дыша”, “святая женская душа” целых двадцать лет провела в своей пустыне, – всю молодость, всю жизнь!

По счастью, мать Некрасова умела не только плакать и “легкой тенью” бродить по липовым аллеям грешневского сада; не умея бороться активно, она в высокой степени обладала способностью борьбы пассивной, она была “горда и *упорна”* (качество, всецело унаследованное и ее сыном-первенцем). Она

могла терпеть, нести свой крест “в молчании рабы”, но жила и действовала все-таки по-своему, так, как подсказывало ей любящее сердце. Ее сын и певец рассказывает, что, осужденная сама на страдания, за страдания же полюбила она и свою новую родину.

Несчастна ты, о родина, я знаю, —

влагает он в ее уста обращение к Польше начала тридцатых годов, эпохи первого польского восстания, -

Весь край в крови, весь заревом объят,
Но край, где я люблю и умираю,
Несчастнее, несчастнее стократ!

И в продолжение двадцати долгих лет она была ангелом-хранителем не только для собственных детей, но и для крепостных рабов. “Ты не могла голодному дать хлеба, ты не могла свободы дать рабу; но лишний раз не сжало чувство страха его души, но лишний раз из трепета и праха он поднял взор бодрее к небесам”. И не может быть никакого сомнения в том, что семена любви к несчастному порабощенному народу посеяны были в душе нашего поэта именно рукою его страдалицы-матери. Рисуя впоследствии (в поэме “Пир на весь мир”) симпатичный образ семинариста Гриши, Некрасов, быть может, не об одном Добролюбове вспоминал, когда говорил:

И скоро в сердце мальчика
С любовью *к бедной матери*
Любовь ко всей вахлачине
Слилась – и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастия
Убогого и темного
Родного уголка…

Если не жить для счастья убогого и темного люда, то работать для него, несомненно, мечтал и юноша Некрасов. Гуманное влияние матери заключалось не в одном лишь примере, но и в непосредственном воздействии. Она была человеком образованным; на полях оставшихся после ее смерти польских книг, привезенных когда-то с далекой родины, сын ее – поэт –

нашел впоследствии ряд заметок, обнаруживавших пытливый ум и глубокий интерес к предмету чтения. уходя мыслью к временам раннего детства, он припоминает, как в зимние сумерки у догорающего камина она держала его на коленях и ласковым, мелодическим голосом рассказывала под завывание вьюги сказки “о рыцарях, монахах, королях”.

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.

Таким образом, и первая искра любви к поэзии была заронена в душу Некрасова тоже матерью; известно, что семи лет от роду он уже писал стихи, и даже сохранилось его детское четверостишие, обращенное к матери:

Любезна маменька, примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь.

Из всего этого видно, что чуткая, нервно-впечатлительная душа будущего поэта на заре сознательной жизни находилась под двумя резко противоположными влияниями; и, быть может, эти-то влияния и послужили фундаментом при создании загадочно-сложного, полного таких удивительных контрастов характера поэта; они же определили и характер его одновременно реальной и идеалистической музы.

Мы проходим мимо гимназического периода жизни Некрасова, так как в литературе имеются пока лишь глухие, отрывочные и часто противоречивые сведения об этих годах. Каковы были его учителя, товарищи? Какой уровень знаний и нравственного развития давала тогдашняя ярославская гимназия своим ученикам? Как жили, что делали и читали эти последние вне стен учебного заведения? Восстановить полную картину этих лет жизни Некрасова вряд ли уже удастся. Одно не подлежит сомнению: пребывание в гимназии в значительной степени освободило Некрасова от гнетущих пут отцовского деспотизма и рано развило в его характере черту самостоятельности. В родительскую деревню он приезжал в эти годы только на рождественские, пасхальные и летние каникулы, все же остальное время жил с младшим братом в городе на частной квартире,

пользуясь почти безграничной свободой. Правда, к нему с братом приставлен был крепостной дядька, но надзор этот ограничивался лишь материальной стороной жизни молодых барчуков, а никак не умственной или нравственной. Существует указание (опирающееся, кажется, на рассказ сестры поэта), будто Некрасов-гимназист злоупотреблял этой свободой, участвуя в товарищеских пирушках и других нездоровых развлечениях, учась плохо и к гимназическому начальству относясь непочтительно (между прочим, он писал сатирические стихи на учителей, – обстоятельство, повлиявшее будто бы и на невольное удаление его из четвертого или пятого класса)…

Семейное предание это не следует, однако, принимать с абсолютным доверием. Известно ведь, как относится обыкновенно семья к исключенному из училища юноше: обвиняют во всем его одного, охотно преувеличивают и раздувают до грандиозных размеров его шалости, его распущенность… Тому, что в действительности все было далеко не так, порукой служат те же “Мечты и звуки”, составившиеся главным образом из стихотворений, писанных в гимназические годы и, однако, проникнутых светлым идеализмом и глубоким религиозным чувством. Не такова была натура Некрасова, чтобы систематически предаваться лени, шалопайству и тем более распутству. Шестнадцатилетним юношей очутился он на еще большей свободе, в Петербурге, совсем уже вдали от родительского глаза, – и это ничуть не помешало ему (даже если и бывали временами увлечения и ошибки) упорно трудиться и идти по раз намеченному пути. Природная искра Божия и идеалистическое влияние матери, очевидно, были крепким щитом против всех недобрых и темных сил жизни.

ГЛАВА III. ТЯЖЕЛАЯ РАБОЧАЯ ЮНОСТЬ

Неумирающий идеал. – Смерть матери

За тяжелой порою детства и отрочества, омраченной ранним знакомством со всей грязью и ужасом крепостного строя русской жизни, последовала еще более безрадостная и мрачная юность. Вскоре она затмила собою самые ужасные воспоминания ранних лет, и, как это часто случается, юноше начало даже казаться, что позади остались одни лишь “ручейки, долины, холмики, лески и все, чем *в доле беззаботной в деревне счастлив земледел,* чему б теперь опять охотно душой предаться я хотел” (“Мечты и звуки”).

Я был несчастней,

сравнивает он дальше свою долю с долей земляка-товарища, тоже попавшего в Петербург, -

…Я пил дольше
Очарованье бытия,
Зато потом и плакал больше,
И громче жаловался я.

Как известно, из-за ссоры с отцом сын богатого сравнительно помещика, Некрасов очутился один-одинешенек на улицах огромного города, в положении почти нищего; но на психологическую сторону этого превращения как-то мало обращалось до сих пор внимания. По исключении из гимназии поэту грозила серьезная опасность пойти по следам предков, в ранние годы поступавших в военную службу и там, в душной атмосфере казармы, доканчивавших свое воспитание или, лучше сказать, развращение, начатое в рабовладельческой усадьбе. Военщина являлась в те времена не только последним прибежищем для всех недорослей из дворян, неудачников на других путях жизни, но и окружена была в глазах обывателя известным ореолом как одна из наиболее завидных жизненных карьер. О такой карьере для сына мечтал отец; толкали юношу на проторенный путь и материальные затруднения родителей; семья их все росла, а денежные средства благодаря широким привычкам

главы дома все таяли (одно время Некрасова-отца соблазнила даже должность исправника): на продолжительную и значительную поддержку из дому юноша рассчитывать поэтому не мог. И вот летом 1838 года[5] его отправили с рекомендательным письмом к жандармскому генералу Полозову в Петербург, для поступления на казенный счет в один из кадетских корпусов.

В Петербург Некрасов явился, письмо Полозову передал, но вместо корпуса стал готовиться к экзаменам в университет и, как бы бросая вызов ненавистному прошлому, в сентябрьской книжке “Сына Отечества” напечатал первое свое стихотворение – “Мысль”:

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый!..

Биографы поэта утверждают, что все это вышло случайно: Некрасов познакомился, мол, со студентом Глушицким, и тот так “увлек его рассказами о преимуществах университетского образования”, что мысль о корпусе была брошена. В действительности вряд ли произошло это так уж случайно: ведь не Глушицкий же заставил Некрасова, почти на другой день по приезде в Петербург, понести свои стихи в журнал Полевого. Очевидно, и сам поэт не хуже других понимал все преимущества интеллектуальной карьеры перед фронтовой шагистикой. Знакомство со студенческим кружком сыграло, по всей вероятности, в его решении лишь роль последней капли, переполнившей чашу.

С легкой или, вернее, тяжелой руки Достоевского утверждается нередко, что “аннибаловой клятвой” Некрасова, данной им себе в юности, была клятва “не умереть на чердаке”. Сам Достоевский высказывает эту странную мысль в довольно грубой и ядовитой форме: “Миллион – вот демон Некрасова… демон, который осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел (?). Этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца… Тогда-то и начались, быть может, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: *в кармане моем – миллион!* (из поэмы “Секрет”)” (!).

Никто другой из русских писателей не страдал столько от клеветы и сплетен мракобесов и личных недругов, как Некрасов. Это был, можно сказать, какой-то организованный поход… И думается, при всех недостатках характера и ошибках жизни нашего поэта главное основание, главную пищу этим сплетням дали его многочисленные публичные самообвинения, его горячие

покаянные песни, плод высокоразвитой, исключительно чуткой совести… Теперь, когда факты жизни Некрасова – его заслуги и его “вины” – более или менее общеизвестны, мы, конечно, вправе назвать грубые намеки Достоевского по меньшей мере необдуманными. Конечно, никакого права не имел он отождествить уродливого героя некрасовской сатиры (“И вот тебе, *коршун,* награда за жизнь *воровскую* твою!”) с самим ее автором! Не имел он права утверждать и вообще, что жажда материального самообеспечения (“демон миллиона”!) была будто бы с юных лет главным двигательным нервом духовной деятельности Некрасова… Не говоря уже о том, что никакого “миллиона”, – как мы теперь знаем, – Некрасов к концу жизни не стяжал, утверждение это во всех отношениях абсурдно – оно разлетается в прах при первом прикосновении критики. Как, в самом деле, странно поведение некрасовского “демона”!

Придается огромное значение “аннибаловой клятве” Тургенева, выразившего свой протест против крепостного права в свойственной ему форме мягких художественных образов, которые так восхищают нас в “Записках охотника”; но разве же можно сравнивать этот “прекраснодушный”, в сущности, протест с действительно пламенным протестом Некрасова, всю жизнь буквально горевшего “святым беспокойством” за судьбы народа? Здесь перед нами всеобъемлющая страсть, о которой поэт имел бы полное право сказать словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила, Изгрызла душу и сожгла!
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.

Эта страсть проникла в душу Некрасова еще в раннем отрочестве, на волжском берегу, при виде шедших бечевою и певших заунывные песни бурлаков.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!
Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,

Чтоб кто-нибудь не осмеял![6]

Целых восемь лет (1838–1846) человек подвергается опасности зачахнуть от непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть с голоду, а между тем стоило ему вернуться на лоно благонамеренности и, помирившись с отцом, поступить в корпус, и он снова был бы сыт, обеспечен и будущее улыбалось бы ему в виде, может быть, блестящей военной карьеры. “Он был бы, если бы захотел, – говорит Н. К. Михайловский, – блестящим генералом, выдающимся ученым, богатейшим купцом. Это мое личное мнение, которое, я думаю, впрочем, не удивит никого из знавших Некрасова”. Однако мы знаем, что за все годы своей тяжелой юности он ни разу не подумал ни об одной из подобных возможностей “самообеспечения”… Рисуя впоследствии в “Несчастных” душевное состояние юноши, заброшенного в столичный омут, поэт писал:

Счастлив, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей верен был
И в жизни ни однажды Бога
В пустой груди не ощутил.
Но если *той тревоги смутной*
Не чуждо сердце – пропадешь!
В *глухую полночь, бесприютный,*
По стогнам города пойдешь.

Так именно и было с Некрасовым. Не “дорога стяжанья” пленяла его; душой его владела иная властная сила, иная “смутная тревога” – страстная любовь к родине и народу, которая могла вылиться в единственно возможной в те времена форме служения родной литературе, – и, несмотря на все частные ошибки и, быть может, даже падения, сила эта всегда брала в его душе верх. Ниже мы помещаем записку Г. З. Елисеева, чрезвычайно интересно и оригинально освещающую эту сторону личности Некрасова; пока же ограничимся сказанным и вернемся к юным годам поэта, к тем обстоятельствам, при которых окончательно сформировались его личность и поэзия.

Первые годы пребывания Некрасова в Петербурге совпали с одним из самых печальных и мрачных периодов в истории русской журналистики вообще и петербургской в особенности. Впоследствии сам Некрасов так охарактеризовал этот период:

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин – без него
Любовь к ней публики остыла.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели…

И в самом деле, со смертью Пушкина литературный диапазон сразу резко сузился… Лучшие приуныли и пали духом, худшие подняли голову и обнаглели… Что касается общества, то оно еще помнило, как рассказывает Тургенев в “Литературных и житейских воспоминаниях”, “удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 г., ничего даже не шевелилось, а только бродило – глубоко, но смутно – в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их, – не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность – и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали”.

Действительно, не только в талантливых, но даже и в гениальных представителях литературы в конце тридцатых годов не было недостатка: загоралась яркая звезда Лермонтова; к голосу Белинского уже прислушивалась вся юная Россия; Гоголь был признанным главою “натуральной школы”; жив еще был и Жуковский… Но Белинский лишь в самом конце 1839 года переехал из Москвы в Петербург и в письмах отсюда к московским приятелям долгое время жаловался на полное одиночество. Жуковский жил при дворе и от журнального мира всегда стоял в стороне. Лермонтов, когда не находился в ссылке, вращался также в высшем обществе и к литературе относился с показным пренебрежением. Наконец, Гоголь, в котором в это время начинался уже печальный внутренний перелом в сторону пиетизма, жил большею частью в Риме и лишь редкими наездами бывал в Москве и Петербурге.

Во времена Пушкина кроме него самого, издававшего “Современник”, во главе журналистики стоял такой даровитый и смелый боец за правду, как Полевой, но к концу тридцатых годов от этого смелого бойца уже оставалась одна жалкая тень. Жизнь заставила его пойти на компромиссы, и, сильно подавшись

вправо, сделавшись поставщиком псевдопатриотических драм и фактическим редактором грече-булгаринского “Сына Отечества”, он близко подошел к направлению “Северной пчелы”. “Два задорных поляка”, то есть Булгарин и Сенковский, играли в эти годы вообще непропорционально большую роль в петербургской журналистике. Несомненно, Сенковский был чище Булгарина, даровитее и умнее, но ум его, по остроумному выражению баснописца Крылова, был “какой-то дурацкий”, свободный от всяких принципов. Его гремевшая в тридцатых годах и имевшая до семи тысяч подписчиков “Библиотека для чтения” сеяла в умах читателей легкомысленное, “веселое” отношение решительно ко всем явлениям литературы и жизни… В этом смысле рука об руку с “Библиотекой для чтения” шли довольно многочисленные в эти годы альманахи, сборники и другие полулубочные издания, единственною причиною возникновения которых был расчет издателей-барышников на пробуждавшуюся в русской публике охоту к чтению. Пушкинский “Современник” в руках корректного, но скучноватого профессора эстетики Плетнева влачил жалкое существование; “Отечественные…” же “…записки”, после продолжительного перерыва возобновленные в январе 1839 года, лишь с конца этого года, с переездом Белинского в Петербург, когда и все его московские приятели (Боткин, Грановский, Кудрявцев, Герцен) перекочевали в этот журнал, стали приобретать постепенно значение боевого либерального органа.

В такое-то время явился в Петербург Некрасов, полный радужных юношеских мечтаний и горячей веры в литературу как в единственно возможную в то время форму разумной и свободной деятельности. Неопытный новичок-провинциал, мало развитой в литературном смысле юноша, он не умел еще разбираться в тогдашних литературных партиях и направлениях, и, по всей вероятности, какой-нибудь Греч или Сенковский ничем ровно не отличался в его глазах от Полевого или Краевского. По крайней мере, стихи Некрасова начали появляться безразлично в “Литературной газете”, “Библиотеке для чтения”, “Сыне Отечества”, “Прибавлениях к «Инвалиду»” и прочих; только собственное природное чутье привело его в конце концов в кружок Белинского. Но случилось это, к сожалению, не так скоро…

“За славой я в столицу торопился”, – вспоминал позже поэт. И действительно, едва успев напечатать в журналах десяток-другой своих полудетских стихотворений, едва успев познакомиться с дешевыми лаврами и дорогими терниями литературной дороги (в виде холода, голода и одиночества в большом городе), ровно год спустя по прибытии в Петербург он

уже сдал, как мы видели, в цензуру книжечку своих стихотворений. В биографиях Некрасова сообщается обыкновенно, что к этому времени нужда уже выпустила его из когтей, и он сумел даже сделать кой-какие сбережения для выпуска в свет книги. Но это, конечно, недоразумение. Деньги на издание собраны были Бенецким по подписке, и настоящая нужда Некрасова с осени 1839 года, то есть со времени поступления его вольнослушателем в университет и окончательного разрыва с отцом, еще только начиналась: с этого именно времени в течение Двух-трех лет он вел непрерывную борьбу за существование в буквальном смысле слова – с ночевками в ночлежных приютах, жизнью в сырых углах и подвалах, корпеньем над черной литературной работой, едва спасавшей поэта от голодной смерти. [7]

О неудачном литературном дебюте Некрасова мы уже говорили.[8] Собственных признаний поэта насчет впечатления, какое произвело на него это событие, у нас, к сожалению, нет. Все говорит, однако, за то, что здоровое критическое чутье Некрасова, сила его большого природного ума подсказали ему, что если приговор Белинского и был несколько резок по форме, то по существу заключал в себе много правды: основываясь на абстрактных лирических излияниях, Некрасов не мог бы пойти далеко. Несравненные художники слова, Пушкин и Лермонтов умели, конечно, превращать в настоящие бриллианты поэзии все, к чему ни прикасались. Так, Лермонтов уже в очень ранние годы, несмотря на поверхностное знакомство с жизнью, на основании лишь “внутренних видений своего духа” (выражение Белинского) мог создавать вещи вроде “Ангела” или “Паруса”, не уступающие позднейшим его шедеврам. Но это – завидное право гения, являющегося, может быть, раз в столетие… На свое счастье, Некрасов рано понял это; он принял свою неудачу как вполне заслуженную и с чисто юношеским ригоризмом решил, что он совсем не поэт. По крайней мере мы знаем, что после плачевного опыта с “Мечтами и звуками” он надолго оставил лирику, а к самой этой книжке отнесся с беспощадной свирепостью: все уцелевшие от продажи экземпляры (а они составляли, вероятно, значительнейшую часть издания) немедленно уничтожил; во все позднейшие издания своих стихотворений никогда не включал из сборника “Мечты и звуки” ни одной пьесы и до конца жизни не любил даже вспоминать о них. Наконец, ни малейшего неприязненного чувства не сохранил он и к своему неумолимо-строгому судье Белинскому, к которому, наоборот, с первого же дня личного знакомства стал относиться с благоговением самого преданного и верного ученика (и благоговение это донес до

могилы). Можно думать, что, вращаясь в студенческих кружках Петербурга, Некрасов уже и в момент выпуска своей злополучной книги хорошо знал имя Белинского и высоко его ценил, – оттого-то и принял он так к сердцу приговор великого критика.

Чего, однако, стоило этому гордому, замкнутому, "с самого начала жизни раненому" сердцу подобное безмолвное и по-видимому спокойное отречение от заветной юношеской мечты? Об этом, повторяем, сведений мы не имеем, хотя и нетрудно представить себе внутреннюю бурю, пережитую поэтом. Инстинкт тянул к литературе и поэзии, продолжая, быть может, подсказывать: "Здесь твое призвание, законное место!" А рассудок и опыт жизни говорили другое: "Стой! Ты – не поэт, а всего только мечтатель… Войти в этот храм ты недостоин".

Это была, разумеется, тяжелая внутренняя драма; в течение нескольких лет рефлексия одерживала верх над инстинктом, и Некрасов шел по дороге литературного чернорабочего. Но, с другой стороны, именно в том обстоятельстве, что он не бросил все-таки литературы, сказалась могучая сила настоящего таланта. В лице Некрасова мы имеем яркий пример того, что значит крупное литературное дарование: точно стихийная сила, рано или поздно оно неудержимым потоком прорвется наружу, несмотря ни на какие искусственные преграды и плотины! Несмотря на всю тяжесть нужды, Некрасов никуда не пошел от литературы. Не удалось в качестве признанного жреца войти в храм, – он остался у ворот храма в качестве простого подметальщика сора, рецензента, куплетиста, фельетониста, лишь бы быть *возле* литературы! Даже умирая с голоду, не покидал он своего поста, пока наконец терпение, упорный труд, горячая любовь, случай (в виде знакомства с Белинским), а главное – развернувшийся постепенно талант не вывели на широкую дорогу славы…

В биографиях Некрасова этот период его жизни (1840–1845 годы) признается одним из самых темных. Известны, правда, отрывочные рассказы самого поэта о некоторых исключительных моментах его тогдашнего житья-бытья, о том, например, как, голодая и не имея ни гроша в кармане, заходил он в один ресторан на Морской, где дозволяли читать газеты и тем, кто ничего себе не заказывал: Некрасов брал для вида газету, а в то же время придвигал незаметно тарелку с хлебом и насыщался… В другой раз он заболел от продолжительной голодовки и много задолжал квартирному хозяину-солдату. Вернувшись однажды поздно вечером от товарища совсем больным, он не был впущен хозяином в свою каморку. Между тем на дворе стояла холодная ноябрьская ночь… Будущему знаменитому писателю пришлось бы

замерзнуть под забором, если бы над ним не сжалился проходивший мимо нищий, который отвел его в какую-то ночлежку на окраине города. Там же Некрасов отыскал себе и заработок, за 15 копеек написав кому-то из товарищей по злоключениям прошение… В дополнение к этим отрывочным рассказам-воспоминаниям мы имеем краткое глухое признание поэта, что он попал в эту пору в такой литературный кружок, в котором “скорее можно было отупеть, чем развиться”… С другой стороны, если перебрать все написанное Некрасовым за эти четыре-пять лет (за всю жизнь он написал, по собственному признанию, до трехсот печатных листов *прозы,* и, конечно, значительная доля их приходится на юношеские годы), то станет вполне ясно, что бедному юноше было в это время не до “жизни” в настоящем смысле этого слова! Нужно от души пожелать, чтобы нашелся наконец добросовестный исследователь, который взял бы на себя труд внимательно перечесть всю груду юношеских писаний Некрасова и проследить, насколько они вызваны были заботой о насущном куске хлеба и насколько отразилась в них внутренняя жизнь поэта. Кроме многочисленных пародий и юмористических куплетов (из которых в общеизвестное собрание стихотворений вошел только “Говорун”) Некрасовым между 1840–1843 годами написаны следующие рассказы и повести:[9] “Макар Осипович Случайный”, “Без вести пропавший пиита”, “Утро в редакции”, “Певица”, “В Сардинии”, “Двадцать пять рублей”, “Ростовщик”, “Капитан Кук”, “Необыкновенный завтрак”, “Помещик 23 лет”, “Карета, предсмертные записки дурака”, “Жизнь Александры Ивановны”, “Опытная женщина”, “Жизнь и люди (философическая сказка)”; затем следовали водевили и драмы под псевдонимом Перепельского: “Актер”, “Шила в мешке не утаишь”, “Феоктист Онуфриевич Боб”, “Муж не в своей тарелке”, “Дедушкины попугаи”, “Вот что значит влюбиться в актрису”, “Материнское благословение”, “Похождения Петра Столбикова”. Но вся эта беллетристическая производительность должна, кажется, померкнуть перед массой написанных Некрасовым театральных и литературных рецензий. О количестве их можно судить по тому обстоятельству, что за *один* 1841 год и в *одной* только “Литературной газете” г-н Горленко насчитал их больше тридцати, а между тем Некрасов писал рецензии постоянно, из года в год, помещая их почти во всех литературных журналах сороковых годов: в “Русском инвалиде”, “Прибавлениях к «Инвалиду»”, “Библиотеке для чтения”, “Отечественных записках”, “Пантеоне” и даже “Финском вестнике”!

Много работал также Некрасов в качестве фельетониста… Но и это еще не все: нужда привела его и к лубочным издателям

(Иванову и Полякову), для которых он сочинил несколько азбук и сказок. В числе последних известна большая “русская народная сказка в стихах” (больше двух тысяч стихов) “Баба-Яга костяная нога”. Состояла она из восьми глав: в первых двух автор пытается подражать манере “Руслана и Людмилы”, в остальных – народным сказкам Пушкина.

Действительной народности в этой “народной” сказке, так же как и поэзии, – ни капли; содержание вполне нелепое, форма – примитивная.[10] Невольно приходит в голову, что “Баба-Яга” писана Некрасовым не в Петербурге в 1841 году, а еще в Ярославле, двумя-тремя годами раньше, теперь же, в минуту жизни трудную, лишь слегка, быть может, подправлена и пущена на книжную толкучку…

Под гнетом этого беспросветного черного труда проходили годы, лучшие годы молодости…

Кажется, летом 1842 года в жизни Некрасова случилось знаменательное событие – примирение с отцом и поездка в родное Грешнево. За время четырехлетнего отсутствия поэта там произошло много печального. Умерла, прежде всего, любимая сестра его, трагическую судьбу которой рисуют следующие строки “Родины”:

> И ты, делившая с страдалицей безгласной
> И горе, и позор судьбы ее ужасной,
> Тебя уж также нет, сестра души моей!
> Из дома крепостных любовниц и псарей
> Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
> Тому, которого не знала, не любила…
> Но, матери своей печальную судьбу
> На свете повторив, лежала ты в гробу
> С такой холодною и строгою улыбкой,
> Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Других подробностей тяжелой драмы не сохранилось, но легко представить себе, что переживала несчастная мать, сама давно уже сгоравшая и таявшая как свеча. По-видимому, незадолго до ее смерти в доме произошла какая-то дикая история, быть может, один из тех многочисленных конфликтов, какие бывали между бедной страдалицей и ее властелином; на это есть намек в “Рыцаре на час”: “И гроза над тобой разразилася, ты, не дрогнув, удар приняла!..” Сам “палач” не выдержал своей роли и в позднем раскаянии упал к ногам замученной им женщины: “Ты победила! У ног твоих детей твоих отец…”

Некрасова вызвали из Петербурга; но, по всей вероятности,

письмо отца написано было в успокоительном тоне, позволявшем думать, что непосредственная близкая опасность больной не грозит: по крайней мере, поэт не поторопился выехать и получил вскоре известие, что все уже кончено. Мать Некрасова умерла 29 июля 1841 года, и когда следующим летом он собрался посетить Грешнево, на могиле ее уже лежала плита с вырезанной на ней надписью, а в доме сделаны были перестройки и заведены новые порядки.

У той плиты, где ты лежишь, родная,
Припомнил я, волнуясь и мечтая,
Что мог еще увидеться с тобой —
И опоздал!.. И жизни трудовой
Я предан был, и страсти, и невзгодам,
Захлестнут был я невскою волной…

Встреча с отцом имела наружно мирный характер. К двадцатилетнему юноше уже нельзя было относиться как к мальчику, и возможно, что старик испытывал теперь даже некоторое почтение к сыну, к его твердости и уменью стоять на собственных ногах. “С усталой головой, ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), но горделив – приехал я домой”, – находим в поэме “Мать” воспоминание об этой поездке на родину.

После смерти жены отец Некрасова прожил еще около двадцати лет, но поэт редко вспоминает об этом позднейшем периоде его жизни, а если и вспоминает, то с несравненно большей мягкостью; иногда прорываются даже как будто теплые нотки:

Буря воет в саду, буря ломится в дом…
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, *что посажен отцом,*
И ту иву, что мать посадила…

(1863 год)

Мой черный конь, с Кавказа приведенный,
Умен и смел,
как вихорь он летит;
Еще отцом к охоте приученный,
Как вкопанный при выстреле стоит.

(1874 год)

ГЛАВА IV. ГУМАННАЯ ШКОЛА БЕЛИНСКОГО

Неизгладимое влияние режима "ежовых рукавиц". – Герой-раб

Мы подошли к событию, сыгравшему в истории развития нравственной личности Некрасова не меньшую, если не большую, роль, чем любовь к матери: таким событием было знакомство с Белинским…

Впервые великий критик обратил на нашего поэта внимание как на автора некоторых понравившихся ему рецензий, должно быть, еще в 1842 году; но долгое время их встречи и беседы были мимолетны и незначительны. Некрасов уже давно преклонялся перед Белинским, но природная замкнутость и застенчивость мешали ему сделать первый шаг к более тесному сближению; он смотрел на себя как на скромного литературного работника, а Белинский был в это время уже в апогее своей славы и в "Отечественных записках" занимал место главного редактора.

Сближение началось, кажется, лишь с осени 1844 года, когда Некрасов собирал материал для задуманного им в то время литературного сборника "Физиология Петербурга", для которого в числе других писателей дал свою статью "Петербург и Москва" и Белинский. Между прочим, Белинского сильно заинтересовал (еще в рукописи) предназначавшийся для этого сборника очерк самого Некрасова "Петербургские углы", один из лучших прозаических опытов поэта, посвященный жизни трущобных обитателей и написанный в духе и манере "натуральной школы". Интерес был тем сильнее, что до Белинского, конечно, дошли уже в это время слухи о лично пережитом Некрасовым периоде нищеты и голода, и в "Петербургских углах" он видел не столько художественное произведение, сколько очерк, исполненный глубоко выстраданной жизненной правды. "С этих пор, – рассказывает в своих воспоминаниях Иван Панаев, – Некрасов с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал ему свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов… Он произвел на Белинского с самого начала приятное впечатление. Последний полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый, практический взгляд не по летам, который он вынес из своей труженической и страдальческой жизни и которому

Белинский всегда мучительно завидовал… Ни в ком из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, смотрел на него с каким-то особенным уважением". Белинский полагал, впрочем, что Некрасов навсегда останется полезным литературным тружеником – не больше. Даже в следующем, 1845 году, когда Некрасов напечатал уже во второй части "Физиологии Петербурга" свою сатиру в стихах "Чиновник", Белинский, осыпая ее в печати похвалами как "одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме", ни одним еще словом не обмолвился о *поэтическом* таланте автора. И только позже, в "Обзоре русской литературы за 1845 г.", он называет "Чиновника", "Современную оду" и "Старушке"[11] "счастливыми вдохновениями таланта"… Но, кажется, перед этим Белинский прочел уже в рукописи стихотворение "В дороге", которое, по свидетельству Панаева, привело его в полный восторг: "У Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?…»"

С этого момента, а особенно после знаменитой "Родины", Белинский начинает возлагать на Некрасова как на поэта большие надежды, и отношения его к автору оригинальных стихотворений принимают нежный, почти любовный оттенок…

Посмотрим же, чем был Белинский для Некрасова. "Он видел во мне, – вспоминал впоследствии сам поэт, – богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною, имевшие для меня значение поучения". А каким обаянием веяло на Некрасова от личности Белинского, видно хотя бы из рассказа Достоевского о его первом знакомстве с Некрасовым по поводу "Бедных людей": "В полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили и о поэзии, и о Гоголе, цитируя из "Ревизора" и из "Мертвых душ", но главное – о Белинском. "Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите… Да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!" – восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками… О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверное, уж и тогда бывали такие минуты и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно". Или вот какой разговор Некрасова с Добролюбовым

передает в своих воспоминаниях Панаева-Головачева:

> “"Жаль, что вы сами не знали этого человека! Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним вдвоем, часов до двух ночи, беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях… Вы вот вступили в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я?… Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением… Что бы ему пожить подольше! Я был бы не тем человеком, каким теперь!" – Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет”.

К воспоминаниям Панаевой во многих частностях позволительно относиться cum magno grano salis,[12] но в данном *случае* показания ее нисколько не стоят в противоречии с отзывами самого Некрасова о Белинском, рассеянными во многих местах его стихотворений и поэм.[13] Не станем цитировать всем известную знаменитую тираду из “Медвежьей охоты”, обращенную к “многострадальной тени” великого “учителя”, научившего русское общество “гуманно мыслить”. Но есть у Некрасова еще одно произведение, в главном герое которого изображен, думается нам, также Белинский: это – Крот из второй части “Несчастных”. Если никто не замечает обыкновенно поразительного сходства этой фигуры с личностью Белинского, то, конечно, лишь благодаря Достоевскому, который пустил в обращение совсем иное толкование. “Однажды, в 63-м, кажется, году, – рассказывает он в “Дневнике писателя”, – отдавая мне томик своих стихов, Некрасов указал мне на одно стихотворение, “Несчастные”, и внушительно сказал: я тут об вас думал, когда писал это (т. е. об моей жизни в Сибири), – это об вас написано”. На этом основании и сложилось распространенное до сих пор мнение, будто Крот Некрасова – Достоевский… Но во-первых – и по рассказу самого Достоевского – Некрасов отнюдь не сказал, что именно в образе Крота изобразил его: он только *вообще* думал о горькой судьбе Достоевского, сочиняя “Несчастных” (что и без

его признания не подлежит, конечно, сомнению). Что касается Крота, то с автором “Записок из Мертвого дома” в нем положительно ничего нет общего.

Напомним читателю, что “Несчастные” писались в 1856 году, задолго до возвращения Достоевского из Сибири, когда в литературе он был известен еще только как автор “Бедных людей”, “Двойника”, “Хозяйки” и других рассказов, в которых о его будущем *учительстве* не было еще и помина. Личным же своим характером, нелюдимым, болезненно самолюбивым, он, как известно, не внушил особенной любви членам кружка, в котором вращался до своего ареста, в том числе и Некрасову. Другое дело – Белинский…

Прежде всего – наружность последнего. Вот как описывает ее великий мастер такого рода описаний, Тургенев: “Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, *худощавый, с впалой грудью и понурой головой*… Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем *все главные признаки чахотки,* весь так называемый habitus[14] этой злой болезни… *Густые белокурые волосы падали клоком* на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. *Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков,* эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, *расширялись и сверкали в минуты одушевления;* в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. *Голос у Белинского был слаб,* с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и *придыханиями,* «упорствуя, волнуясь и спеша»…”

Не тот же ли это портрет, что и в поэме Некрасова?

Рука нетвердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И, словно лен, пушистый волос
На голове и бороде.
…
Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово как гроза,
И как-то бешено и чудно
Блестят глубокие глаза.

Подобно Белинскому, и Крот погибает от злой чахотки: “Почти два года, из тюрьмы не выходя, он разрушался…” Это внешние черты сходства, но внутренние еще поразительнее:

Пусть речь его была сурова

И не блистала красотой,
Но обладал он тайной слова,
Доступного душе живой.
…
Он нас учить не тяготился,
Он с нами братски поделился
Богатством сердца своего!
…
Не на коне, не за сохою
Провел он свой недолгий век, —
В *труде ученья,* но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: “Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней, —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней!..”

Разве это не Белинский?… Даже одним и тем же выражением “святое беспокойство” характеризует Некрасов своего Крота в “Несчастных” и Белинского – в “Медвежьей охоте”. Литературные и исторические пристрастия обоих точно так же одинаковы: “вещие песни” Кольцова, великие деяния великого Петра, “отца России новой”…

Он видел след руки Петровой
В основе каждого добра.

Но особенно ярко бросается в глаза сходство Крота с Белинским в изображении конца первого:

Но он надежде верил мало,
Едва бродя, едва дыша.
И только нас бодрить хватало
В нем сил… Великая душа!
Его страданья были горды,
Он их упорно подавлял,
Но иногда изнемогал
И плакал, плакал… Камни тверды,
Любой попробуй… Но огня

Добудешь только из кремня!
Таков он был…
В *день смерти с ложа он воспрянул.*
И снова силу обрела
Немая грудь – и голос грянул!
Мечтаньем чудным окрылил
Его Господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: “Вперед!” —
И горд, и ясен, и доволен…
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял, —
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил…

Ведь это вполне реальное, яркое изображение предсмертных минут Белинского! “Присутствовавшие при его смерти рассказывали, – пишет г-н Пыпин в своем известном сочинении “Белинский, его жизнь и переписка”, – что Белинский, лежавший уже в постели без сознания, за несколько минут до кончины вдруг быстро поднялся с сверкавшими глазами, сделал несколько шагов по комнате и проговорил невнятным, прерывающимся голосом, но с энергией, какие-то слова, обращенные к русскому народу, говорившие о любви к нему… Его поддержали, уложили в постель, и через несколько минут он умер”.

Однако, быть может, спросят: что за странная фантазия пришла Некрасову в голову – послать Белинского в каторгу, изобразить его на мрачном фоне клейменого острожного мира, когда всем известно, что умер он у себя в постели, в Петербурге, окруженный близкими, женою и друзьями?… Да, но известно также и другое: Достоевский, арестованный одиннадцать месяцев спустя, осужден был в каторгу главным образом за чтение и распространение письма Белинского к Гоголю… Следовательно, думать о великом покойном учителе во время писания “Несчастных” Некрасову представлялось во всяком случае не меньше поводов, чем о Достоевском…

“Я находился в таком литературном кружке, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться; встреча с Белинским была для меня спасением” – это признание поэта подтверждается как данными его биографии и свидетельствами современников, так, в

особенности, и всем ходом и развитием его поэтической деятельности. Гуманная школа Белинского наложила на мысль и душу поэта глубокий отпечаток. К 1848 году (год смерти Белинского) обрел свой окончательный облик тот действительный “демон” Некрасова, который всегда определял как жизненную его деятельность, так и поэтические настроения. Можно сказать, что до встречи с великим учителем он лишь инстинктом любил народ, инстинктом стремился для него работать, как человек, сам много страдавший и вынесший, как человек, превосходно изучивший и сумевший понять душу народную со всеми ее теневыми и светлыми сторонами; но интеллектуальную формулу этой любви и толчок к активной работе во имя ее Некрасов получил, несомненно, от Белинского. Идеи великого критика упали на богатую почву высокоодаренной натуры поэта, обладавшего – преимущественно перед всеми членами кружка – глубоким знанием и пониманием народной жизни, и дали роскошный плод в виде не одной только поэзии: в журнальной деятельности Некрасова, сыгравшей, по мнению критики, ничуть не меньшую роль в истории русской интеллигенции, чем его стихи, точно так же явственно ощутим могучий дух “неистового Виссариона”…

К сожалению, – потому ли, что благотворное влияние пришло несколько поздно и оборвалось слишком рано, потому ли, что сложная природа Некрасова не поддавалась одной какой-либо определенной окраске, – он навсегда остался во власти глубоких противоречий, от которых сам, разумеется, прежде всего и больше всего страдал.

> На мне года гнетущих впечатлений
> Оставили неизгладимый след…

Идеалист, преданный, как никто другой, делу служения родине и народу, он всю жизнь оставался рабом среды и привычки, любил жизнь ради самой жизни и дорожил ее “минутными благами”. Конечно, и во времена Некрасова встречались рыцари без страха и упрека, подобные Белинскому или, позже, Добролюбову, но это были люди в подлинном смысле слова “не от мира сего”, с юных лет порвавшие с грубой материальной “существенностью” и витавшие в светлой области идеала. Из всех сверстников своих и соратников Некрасов по преимуществу был человеком живой действительности, и меньше чем кого-либо другого его можно рассматривать и судить вне, так сказать, времени и пространства. “Мы выросли в ежовых рукавицах”, – выразился Г. З. Елисеев о своем и некрасовском

поколении, и сыновьям позднейшей эпохи грешно было бы не принять в расчет этого обстоятельства при оценке работы своих предшественников. Крепостное право бросало свою мрачную тень на все решительно явления дореформенной жизни; в душной атмосфере вечного страха, уныния и рабской подавленности росли, жили и действовали целые поколения.

Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины!..

Геройство всегда было и будет завидной долей лишь отдельных единиц. Некрасов не мог претендовать, да никогда и не претендовал на титул героя: напротив, он всегда усиленно казнил себя за душевную дряблость, усиленно подчеркивал недостатки свои как гражданина:

Народ! Народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, – плохой я гражданин.

Повинную голову и меч не сечет… На голову же Некрасова сыпались и до сих пор продолжают сыпаться бесконечные обвинения вплоть до довольно-таки курьезных. Он жил приблизительно так же, в той же обстановке, греша теми же барскими замашками, что и очень многие из его товарищей по профессии, и Тургенева, например, никто не обвиняет в том, что он любил комфорт, не тачал сам себе сапогов и не ходил за сохою, как Лев Толстой позднейших лет. Но то, что прощается большинству, Некрасову, оплакивавшему народную нищету и горе, вменяется в преступление… “Есть неумолимые, которые не прощают и непременно желают развенчать Некрасова. Должно быть, их собственная совесть чиста, как зеркало, в которое они могут спокойно любоваться на свои добродетели и гражданские подвиги. Должно быть, их головы увенчаны бесспорными лаврами” (Михайловский Н. К., Литературные воспоминания, т. 1). Не вступая с подобными господами в спор, отошлем читателя к статье, из которой взята только что приведенная цитата: более глубокого и тонкого проникновения в сложную природу души Некрасова в русской литературе нет. Нам хотелось бы только прибавить кое-что по поводу “тени, которая четверть века назад (а теперь уже сорок лет назад. – Авт.) пала на личность поэта и затуманила ее в глазах самых горячих поклонников”.

Дело происходило, как известно, в 1866 году, когда, после выстрела Каракозова, над “Современником” и даже, – думалось тогда многим, – над всей русской литературой нависла грозная туча. Людям нашего поколения трудно и представить себе ту мрачную пелену панического страха, которая, по единогласному свидетельству современников, окутала в те дни даже неробкие сердца и недюжинные умы; “sauve qui peut”[15] – было общим криком. К сожалению, многие любопытные и поучительные подробности тех событий еще не преданы печати… В этот-то момент всеобщей растерянности и заботы о спасении дрогнул и Некрасов, – и рука его “исторгла у лиры неверный звук”: на публичном обеде, который петербургское дворянство давало тогдашнему властителю судеб русского общества – графу Муравьеву-“вешателю”, Некрасов прочел свои приноровленные к этому торжественному случаю стихи. Рассказывали, будто, выслушав их, Муравьев от чтеца отвернулся… Во всяком случае, если Некрасов рассчитывал подобной жертвой отвести грозу от своего “Современника”, то он горько ошибся: журнал был вскоре закрыт. Опасность оказалась, однако, не столь грозной, как ее рисовало напуганное воображение: “вся литература” не погибла; первый пароксизм испуга прошел, и поэту пришлось по капле испить всю чашу горечи – злорадство врагов, упреки друзей и собственной совести.

И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно предо мной
Великие страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.

В бумагах Н. К. Михайловского сохранилась в высшей степени характерная и любопытная записка Г. З. Елисеева, имеющая форму ответа на письмо Худякова, горячего когда-то поклонника Некрасова, осужденного по делу Каракозова и из глубины Восточной Сибири славшего поэту горькие и даже жестокие упреки за “неверный звук лиры”. Письмо это получено было Елисеевым или, быть может, самим Некрасовым еще в конце шестидесятых или начале семидесятых годов, защитительная же записка Елисеева относится, по всей вероятности, к концу восьмидесятых годов, когда Худякова давно уже не было на свете. Приводим ее здесь целиком.[16]

“Нам понятно то глубокое негодование, которое кипело в груди автора каждый раз при мысли, что Некрасов говорил в

клубе стихи в честь М., в которых призывал карающую руку… Понятно потому, что, может быть, первые чувства гражданской доблести в Х. были пробуждены и воспитаны музою Некрасова, и вот теперь… он слышит от этой самой музы вместо утешения и благословения проклятие! Тем не менее такое отношение автора к Некрасову мы признаем крайне несправедливым и жестоким. Известно, что в том мраке… ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело не могли явиться без компромиссов. А у Некрасова на руках было большое публичное дело, дело расширения и упрочения за прессою свободного слова с целью дать возможно широкое распространение в обществе новой идее. Из всех писателей 40-х годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным ее носителем и служителем и остался таким до конца жизни. На это посвятил он весь свой громадный талант, действуя как поэт и как журналист. Теперь даже трудно определить, чем он более принес пользы: своими ли поэтическими произведениями или своей журнальной деятельностью. В то время, когда стихи его рассеивали всюду “святое недовольство” и возбуждали в молодых умах горячие порывы к обновлению, журнал указывал источники зла и те пути, которыми нужно было идти для его истребления, и где и в чем искать нового дела; около журнала группировались верные борцы за новую идею, делавшие всегда первыми смелые шаги вперед. Недаром “Современник” сделался любимейшим журналом публики, и в особенности молодежи; недаром ни на один журнал не сыпалось столько обвинений и тайных доносов со стороны ретроградов и столько гонений и притеснений со стороны цензуры, как на “Современник”. С назначением Муравьева все ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать этот человек, который иногда осмеливался не являться во дворец, несмотря на неоднократные требования, отзываясь делами и недосугом?[17] И вот для умилостивления этого человека, способного и готового уничтожить всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в его честь и прочитав публично в клубе стихотворение. Говорят: Некрасов все-таки не спас этим “Современника”… Но те, которые говорят так, забывают, что речь шла не о спасении одного “Современника”, а о сохранении возможности существования новой идеи, о предупреждении гонения на литературу как на литературу только… Законность и необходимость принесенной Некрасовым жертвы, наверное, будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик,

чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке. Толки эти мучили его всю жизнь. Всем известно написанное им в 1866 же году прекрасное стихотворение “Ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой”, где он изображает себя отвергнутым от всех, к кому лежали его симпатии, и попавшим через свое (клубное) стихотворение в дружбу к толпе *безличных,* которые “спешат в объятья к новому рабу и пригвождают жирным поцелуем несчастного к позорному столбу”. Сокрушение о своем поступке Некрасов высказывал и впоследствии в нескольких стихотворениях и лично говорил о нем всем симпатизирующим ему лицам, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашних обстоятельств. Даже перед смертью, мучимый страшною болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние… Так давила и мучила его жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

Но что руководило Некрасовым при его поступке: мысль о деле, которому он служил, или о тех личных выгодах, которые были сопряжены с этим делом? И если последнее, то не заслуживает ли его поступок справедливого порицания и не были ли те страдания, которые он испытал за него, вполне заслуженной карой? На этот вопрос можно ответить другим вопросом. Мог ли бы Некрасов иметь столько врагов, сколько он их имел, если бы стал петь другие песни и служить другому, противоположному делу? Наглядное, блистательное доказательство того, как перемена идейного фронта может обогатить и возвеличить даже и не такого талантливого, как Некрасов, но бойкого и ловкого литератора, каждый может видеть на примере Суворина. Этот робкий чиж скромно чирикал свои либеральные фельетоны у Корша, завидуя славе и блеску такого сокола-соловья, как Катков. Но вдруг у него родилось желание направить свое чириканье во славу “сильных и сытых мира сего”. Он попробовал – и на него полились деньги и слава. Он теперь признан политическим мудрецом…

Чего же бы, каких почестей и какого богатства не достиг Некрасов при его громадном уме и таланте, если бы захотел хотя бы несколько умерить свое направление? Но он не пошел этой дорогой. А не пошел потому, что не мог петь фальшиво; это не был скворец, наученный петь по-соловьиному, или чижик, робко чирикающий ходячие песенки, а – действительный соловей, который мог петь только своим голосом и петь то, что хватало его за живое. Талант Некрасова был вполне самобытный, соединенный с замечательною силою и крепостью ума. Некрасов

нигде почти не воспитывался – он не окончил курса даже в гимназии, – не мог читать ни на одном иностранном языке, а между тем критический ум его был так силен, что никто лучше его не мог оценить значения каждой новой мысли, являвшейся в литературе по наукам социальным; при этом равно тонко было и его эстетическое чутье, так что можно смело сказать, что он был лучшим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале. Это самое критическое чутье давало ему возможность замечать каждое выдающееся дарование, появлявшееся в других журналах, и вербовать его в сотрудники своего издания, что он и делал. Но еще более верно это критическое чутье руководило им в области явлений мира политического. Вспомним, что при самом первом появлении новых веяний, почувствовавшихся в обществе вскоре после Крымской войны, Некрасов тотчас понял новое положение вещей, круто порвал со своими сверстниками – литературными деятелями сороковых годов, набрал себе новых сотрудников по журналу и стал во главе нового литературного движения. До какой степени это характеризует не только тонкость критического чутья Некрасова, но и симпатию его к новой идее, это мы можем видеть из примера многих его современников, как то: Писемского, Достоевского, самого Тургенева, который, несмотря на свою замечательную чуткость ко всем новым веяниям, бестактно выступил в то время на борьбу с новой идеей в своих “Отцах и детях”. Все это показывает, насколько был проницателен и тверд ум Некрасова в распознавании и оценке проходящих перед ним явлений и веяний политического мира. Он ясно понимал ветхость и ничтожность дореформенного строя, видел невозможность его долгого существования и не мог не быть борцом за новую идею. Только во имя ее он мог слагать свои песни, только ее дело он мог нести так усердно всю жизнь, как он его нес. Правда, он не был теоретиком, у него не было предвзятого определенного миросозерцания, но он, наверное, пошел бы за новою идеею до тех пор, пока она не создала бы лучшего строя жизни, возможного для разумного человеческого существования. Говоря все это, мы, однако же, никак не думаем возводить Некрасова в герои в том смысле, как обыкновенно понимают это слово.[18] Некрасов не пошел бы на смерть, на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе: мы не должны забывать, что он воспитан был в ежовых рукавицах дореформенной эпохи. Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам, применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме; понимает, что таким только образом

он может ее добиться, а кроме того понимает, что в той среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он; хотя, быть может, есть немало лиц из тронутых новой идеей, которые гораздо выше, т. е. самоотверженнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые бы так упорно шли в течение десятков лет, шаг за шагом, по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и перенося сделки со своей совестью. Герой-раб мог признаваться, что его рука иногда “у лиры звук неверный исторгала”, что, “жизнь любя, к ее минутным благам прикован он привычкой и средой”, что он “к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой”. Но действительный герой не мог действовать в то время на журнальном поприще. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой *муж потребен.* Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всецело, публично, запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения; хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленною смертью в ежедневных мелких пытках от внешних мелких гонений и стеснений, от сделок с своею совестью, умирает никем не признанный в своем геройстве и даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу. По условиям нашей жизни, у нас мог выработаться в литературе только герой-раб. Скажем более: только такой герой и мог вынести дело новой идеи при первом ее появлении и утверждении в обществе… Покойный Х. не понял, что герой-раб позволил своей руке “у лиры звук неверный исторгнуть” единственно для того, чтобы уровнять и сделать менее тернистым путь для героев иного типа, героев будущего”.

Повторяем, для людей нынешнего поколения, выросших в совсем иной общественной атмосфере, покажутся, наверное, странными некоторые из мыслей Елисеева. Но ведь он сам же и оговорился, что рисует образ хотя и героя, но – “героя-раба”… Отлично, разумеется, понимал Елисеев все нравственное превосходство героя – свободного человека; но было бы несправедливо отрицать своеобразное “величие” в той спокойной твердости, с которою он громко признается: “Да, наше поколение шло рабьей дорогой к своей великой цели – потому, что иной дороги мы не видели”.

И Елисеев, этот “аскет текущей жизни и непосредственных практических результатов” (как определяет его Н. К.

Михайловский), человек исключительной идейной и душевной цельности, был вполне последователен в применении своих теоретических взглядов к жизни. Оставляя в стороне оценку этих взглядов самих по себе, мы хотели бы только выяснить вопрос о том, насколько нарисованный Елисеевым образ “героя-раба” действительно подходил к Некрасову. Было ли точно сознательным жертвоприношением поведение его в 1866 году? Михайловский, говоря о записке Елисеева, осторожно замечает: “Я не иду так далеко, я думаю, что Некрасов тогда просто растерялся, испуганный надвигающейся грозой, тем более страшной, что неизвестно было, как и куда она направит свои удары. Испугался он, может быть, частью за журнал, но главным образом, я думаю, за себя лично”.

Не решаясь, в свою очередь, идти “так далеко”, мы думаем только, что для самого Некрасова в момент опасности могли быть не вполне ясны руководившие им мотивы. Во всяком случае, апология поэта, написанная Елисеевым, кажется нам чрезвычайно важной не по одним лишь крайне интересным подробностям, но и по существу, как голос не адвоката только, но и свидетеля, человека, который сам, подобно Некрасову (хотя и в значительно меньшей степени), “прошел через цензуру незабываемых годов”. Из всех сотрудников и единомышленников Некрасова Елисеев (который и родился даже в одном с ним 1821 году), конечно, наиболее походил на него по тесному, кровному соприкосновению с живой действительностью, так что, выслушивая Елисеева, мы выслушиваем отчасти как бы самого поэта… Упоминая о предсмертных попытках Некрасова высказаться, Н. К. Михайловский особенно подчеркивает то обстоятельство, что оправдательно-покаянные речи поэта имели “затрудненный” характер, – как будто он “не мог ни другим рассказать, ни самому себе уяснить ту смесь добра и зла”, из которой состояла его жизнь и деятельность. Но не могла ли зависеть эта “затрудненность” отчасти и оттого, что Некрасов своим тонким, проницательным чутьем угадывал огромное психическое различие между собою и младшими своими сотрудниками, вроде самого Михайловского? Не боялся ли он, что при всем уважении и любви к нему людей младшего поколения в некоторых вещах они никогда с ним не столкуются и не поймут его, а если и поймут, то не посочувствуют? Этот страх и мог сковывать его язык, холодить душу. С Елисеевым он чувствовал себя, вероятно, проще и высказывался прямее…

Но, имея так много общего друг с другом, эти два человека в некоторых отношениях были глубоко различны. Елисеев рисуется нам натурой цельной, как бы высеченной из одного куска; Н. К.

Михайловский характеризует его так: “Демократизм Елисеева был не делом только принципов и убеждений, а самих инстинктов”, он был “как бы сам народ, собственными усилиями пробившийся к свету и достигший верхов самосознания”; он “проще и непосредственнее относился поэтому к народу” (“Литературные воспоминания и современная смута”, т. 1). Некрасов же, при всей глубине и искренности своей любви к народу, при всем несравненном знании народной жизни и психики, лишен был такой непосредственности. Елисеев всегда чувствовал себя неотъемлемой частью того народа, для которого всю жизнь работал; Некрасов никогда, в сущности, не переставал чувствовать себя барином-интеллигентом, находящимся в неоплатном долгу перед народом…

Эта черта, которую Успенский назвал “больной совестью”, более приближала Некрасова к поколению младшему, нежели старшему. Герой-раб, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умел в то же время до страсти, до злобы ненавидеть эту свою положительность, и более “тяжкой работы совести”, чем его скорбно-покаянные песни, вплоть до семидесятых годов русская литература не знала. В глазах юных современников Некрасова покаянная нота его поэзии являлась не свидетельством недостатка “величия” в характере поэта, а, напротив, лучшим доказательством права его на бессмертие. К сожалению, выяснить все огромное значение “музы мести и печали” для самой жизни русской сможет лишь более или менее отдаленная история; она же произнесет и окончательный приговор Некрасову как человеку и гражданину.

ГЛАВА V. ПОЭТ НАХОДИТ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Как мы уже видели при разборе книжки “Мечты и звуки”, свою литературную деятельность Некрасов начал в тоне вполне серьезном, далеком от шутки и юмора. Исключение составляет одна только юмористическая пьеса “Пир ведьмы”.

Скачет ведьма на ухвате,
Едет чорт на помеле…

Зато со времени фиаско, постигшего этот первый сборник, Некрасов в продолжение целых пяти лет не напечатал, насколько нам известно, ни одного серьезного лирического стихотворения и хотя стихов продолжал писать и печатать множество, но все это были шутки, пародии, обличительные куплеты. Мы уже пытались объяснить настроение поэта, обусловившее подобный характер его творчества в указанный период. Нельзя отрицать, что эти сатирические опыты юного Некрасова отличались временами неподдельным остроумием; в них встречались едкие выходки, самый стих был легок и своеобразен. Вот, например, два маленьких отрывка из “Портретной галереи”, впоследствии забракованной автором и преданной забвению:

I

Он у нас осьмое чудо —
У него завидный нрав.
Неподкупен, как Иуда,
Храбр и честен, как Фальстаф.
Он с татарином – татарин,
Он с евреем сам еврей,
Он с лакеем – важный барин,
С важным барином – лакей!

II

Было года мне четыре,

Как отец сказал:
“Вздор, дитя мое, все в мире,
Дело – капитал”.
И совет его премудрой
Не остался так:
У родителя наутро
Я украл пятак…

Большой фельетон в стихах “Говорун” – эта пустейшая болтовня пустейшего героя обо всем, что только взбредет в голову, – читается также без скуки, даже, пожалуй, с некоторым удовольствием; местами невольно думаешь: “Сколько труда и искусства потрачено на подобный вздор!” Однако Некрасову случалось уже касаться и более серьезных тем. Заслуживает, например, внимания сатира “Женщина, каких много”.

Она росла среди перин, подушек,
Дворовых девок, мамушек, старушек,
Подобострастных, битых и босых…
Ее поддерживали с уваженьем,
Ей ножки целовали с восхищеньем
В избытке чувств почтительно-немых…
Сложилась барышня, потом созрела
И стала на свободе жить без дела,
Невыразимо презирая свет.
Она слыла девицей идеальной,
Имела взгляд глубокий и печальный,
Сидела под окошком по ночам
И на луну глядела неотвязно…
Болтала лихорадочно-несвязно,
Торжественно молчала по часам.
…
И вдруг пошла за барина простого,
За русака дебелого, степного!
На мужа негодуя благородно,
Ему детей рожала ежегодно
И двойней разрешилась наконец.
Печальная, чувствительная Текла
Своих людей не без отрады секла;
Играла в дурачки до петухов,
Гусями занималась да скотиной, —
И было в ней перед ее кончиной
Без малого четырнадцать пудов…

Перед читателем – характерный тип провинциальной барыни крепостной эпохи; в этом портрете каждый штрих дышит жизнью и правдой и только заключительный, явно утрированный стих, пожалуй, неприятно режет ухо. К сожалению, приходится сказать, что такого рода шарж не есть случайное явление в юношеских сатирах Некрасова, и, например, в упомянутом выше стихотворении “Было года мне четыре” шаржированность принимает даже прямо чудовищные размеры. У героя пьесы умирает отец…

Я не вынес тяжкой раны,
Я на труп упал
И, обшарив все карманы,
Горько зарыдал, —

зарыдал не об утрате отца, а о том, что карманы его оказались пусты…

Не этими, однако, частными недостатками обусловливалось ничтожное значение некрасовской сатиры раннего периода. Важнее было то, что для читателя оставалось все время неясным, во имя какой общей идеи осмеивает и вышучивает она людские слабости и пороки. Это было именно только вышучиванье, а не грозная, бичующая сатира, одушевленная (как, например, позже в “Размышлениях у парадного подъезда”) чувством гражданского негодования, согретая искренней скорбью о торжестве зла и неправды. Такой сатиры мы не видим даже и в столь восхитившем в свое время Белинского “Чиновнике” или в “Современной оде”, которою открывается обыкновенно собрание некрасовских стихотворений… Пьесы это, несомненно, талантливые; в общей концепции их видна уже рука искусного мастера; отдельные стихи поражают силой, оригинальностью и легко остаются в памяти, но и со всем тем “Чиновник” и “Современная ода” не сатиры в настоящем значении слова, а лишь хорошие обличительные стихотворения: в них нет еще главного – поэзии…

Погоня за насущным куском хлеба, спешность работы, привычка глядеть на себя как на литературного чернорабочего, с которого и спрашивать много нечего, низводят в эту пору Некрасова, при всем его таланте, до уровня писателя-ремесленника, который унижался до таких, например, “пародий”:

И скучно, и грустно!.. И некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды.
Жена?… Но что пользы жену обмануть —

Ведь ей же отдашь на расходы.

Но уже близился глубокий внутренний перелом. К середине сороковых годов Некрасов перестал терпеть острую, доходившую до нищеты нужду; у него уже составилось некоторое литературное имя; теперь легче было доставать работу, легче было и бороться с кулаками-редакторами и издателями. Явился сравнительный досуг, и с ним – возможность серьезно думать и работать. В этот-то благоприятный момент Некрасов и сблизился с Белинским, услышал его страстную, полную зажигающего убеждения проповедь… Общая идея, по которой все время тосковала душа будущего печальника горя народного и отсутствие которой так плачевно отзывалось на его произведениях, была наконец отыскана, сформулирована. Горячим солнечным лучом проникла она в дремавшую душу поэта, осветила ее и разбудила к жизни могучие природные силы. Некрасов нашел наконец свое призвание, свою музу, ту “бледную, в крови, кнутом иссеченную музу”, на которую, по его собственному выражению, “не русский взглянет без любви”… Появилось знаменитое стихотворение “В дороге”, нечто неслыханное до тех пор как по форме, так и по содержанию. Начало народнической струи в русской литературе принято обыкновенно связывать с “Деревней” и “Антоном-Горемыкой” Григоровича, но с несравненно большим правом могло бы претендовать на такую роль стихотворение Некрасова, раньше напечатанное и к тому же талантливее выразившее новую идею. Известный критик Аполлон Григорьев, очень долго отрицавший в Некрасове всякий поэтический талант, признавался впоследствии, что пьеса “В дороге” ударила по сердцам с неведомою силой… По его словам, она вместила в одной поэтической форме целую эпоху прошедшего, забросила сети и в будущее; в ней не подделка под народную речь, а речь человека из народа, с народным сердцем, закала Кольцова. Даже враждебный Некрасову Эдельсон, видевший, наоборот, в этом стихотворении фальшивую народную речь, признавал нарисованное Некрасовым положение трогательным и вызывающим сильное впечатление, “гуманное по своей сущности”. Мнение Белинского мы уже знаем. Но если так встречено было стихотворение Некрасова литературной критикой, то читателями середины сороковых годов оно принято было как настоящее откровение… И удивительного тут ничего нет, если и теперь даже, когда мрачная эпоха рабства отошла в область предания и русским обществом уже так много пережито, “В дороге” все еще производит неотразимо-глубокое впечатление.

Очевидно, поэту удалось затронуть живой, до сих пор еще болезненный нерв… То новое, что поразило здесь воображение общества, заключалось не только в изображении новой (крестьянской) среды, не только в мысли о том, что и мужики – те же люди с живой, способной страдать от притеснений душою: рядом с разворачиваемою картиной огромного общественного зла перед читателем приоткрывался душевный мир интеллигентного человека, который чувствовал себя к этому злу причастным.

– Скучно! Скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку.
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку, —

уже этот начальный аккорд, сразу дававший почувствовать, что проезжего барина грызет не простая скука, а – тоска, ищущая отрады в сближении с народным горем, должен был электрическим током проходить по душе современного читателя.

– Ну, довольно, ямщик, разогнал
Ты мою неотвязную скуку! —

саркастически прерывает барин грустный рассказ ямщика, – и как много скрыто в этих двух коротеньких желчных строчках, заканчивающих пьесу! Несколько позже, в стихотворении “В деревне” у Некрасова прорывается та же горестная нота:

Плачет старуха… *А мне что за дело!*
Что и жалеть, коли нечем помочь?

За видимой злостью слышится здесь тот же стон человека, силящегося заглушить голос неспокойной совести; это как бы первый намек на то великое душевное смятение, – “больную совесть кающегося дворянина”, – которое с такой яркостью и силой выражено было во многих позднейших стихотворениях Некрасова.

Новое настроение, охватившее нашего поэта, не было чем-то случайным, мимолетным: почти одновременно с пьесой “В дороге”, за каких-нибудь полтора года (1845–1846), им было написано более десятка замечательных, проникнутых одним и тем же духом стихотворений, в миниатюре отражавших как бы всю некрасовскую поэзию, намечавших почти все главные

мотивы, подробно развитые и разработанные поэтом впоследствии.[19]

В “Тройке”, “Огороднике”, “Псовой охоте” и “Родине” перед нами проходят яркие картины жизни деревенской крепостной России. Героиня “Тройки”, в сущности, та же Груша (“В дороге”); в судьбе этих двух молодых женщин, так же как и в несчастном романе огородника, поэт раскрывает все безобразие рабьих понятий о белой и черной кости, разделенных непроходимой пропастью сословных предрассудков. Живой человеческой души, по этим понятиям, нет; без жалости и пощады приносится она в жертву интересам кастовой выгоды и так называемой чести. Поэт обнажает мрачное, злобное мировоззрение, отравляющее кругом себя атмосферу и развращающее мысль и чувство всех, кто приходит с ним в соприкосновение, – одинаково раба и рабовладельца!

Но уже в эту раннюю пору, когда Некрасов впервые отдался захватившей его волне новых мыслей и чувств, вопрос обновления “старого мира” представлялся ему в очень широких рамках; он видел зло не в одном только крепостном праве и являлся защитником отнюдь не одного крестьянского сословия, а всех оскорбленных, всех обездоленных.

Сгораешь злобой тайною…
На скудный твой наряд
С насмешкой не случайною
Все, кажется, глядят.
Все, что во сне мерещится,
Как будто бы назло
В глаза вот так и мечется,
Роскошно и светло!
Все повод к искушению,
Все дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит.
Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить…
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку…
Одна открыта торная
Дорога к кабаку!

Так рисует поэт в стихотворении “Пьяница” душевное состояние бедняка, озлобленного зрелищем несправедливых общественных контрастов. Как и в другом стихотворении того же

периода – “Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца”, – мы впервые встречаем здесь характерную и оригинальную ноту некрасовской поэзии, ноту злобы, той “злобы тайной”, которая терзает сердце приниженного человека, составляя мучительную отраду его беспросветного существования.

Облик “неласковой и нелюбимой музы”, “печальной спутницы печальных бедняков, рожденных для труда, страданья и оков”, вырисовывается перед нами уже в резко определенных, своеобразных очертаниях.

Со всей силой возмущенного чувства протестует поэт против “бессмысленного мнения” толпы, “пустой и лживой”, бессильно стонущей в тисках нужды и горя и в то же время готовой клеймить презрением всякого, кто в жизненной борьбе является не палачом, а жертвой. Стихотворение “Когда из мрака заблужденья” (даже на взгляд враждебных Некрасову критиков – “превосходное”) было чуть ли не первой в русской литературе попыткой реабилитации падшей под гнетом нищеты и несчастий женщины. Приблизительно в то же время написано и одобренное Белинским стихотворение “Старушке”, направленное вообще против “морального вздора” опутавших общество условностей и предрассудков. Пьеса не была, однако, включена автором ни в одно издание стихотворений, да и в журнале появилась за неполной подписью. Причина понятна: в смысле обработки она оставляет желать очень многого.[20]

Объясняется это, конечно, тем, что тема стихотворения, хотя и вполне реальная, не была подсказана Некрасову лично пережитым чувством: ведь поэту было всего двадцать три года… Могучий лиризм Некрасова – и он сам прекрасно чувствовал это – получал настоящий размах лишь в тех случаях, когда поэт вдохновлялся живой, конкретной действительностью.

Таково оригинальное и сложное содержание стихотворений, появившихся в 1845–1846 годах и, несомненно, глубоко поразивших современного читателя. Очевидно, новые мысли и чувства бурей прошли по душе поэта, заставив зазвучать сразу все ее струны…

Ощутив и осознав кровную связь с родным народом, Некрасов сразу нашел все нужные краски и для изображения родной природы. Как пейзажист уже в 1846 году он является перед нами со своей особенной, ни на кого другого не похожей манерой:

Сторож вкруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.
Мраком задернуты небо и даль,

Ветер осенний наводит печаль;
По небу тучи *угрюмые* гонит,
По полю листья– и жалобно стонет…
Стало светать <…>
Чудная даль открывается взору:
Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,
А за долиной, *слегка беловатой,*
Лес, освещенный *зарей полосатой.*
…
Падает *сизый* туман на долину,
Красное солнце *зашло вполовину,*
И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-бледной луны…
В поле, завидев табун лошадей,
Ржет жеребец под одним из псарей…
…
Заунывный ветер гонит
Стаи туч на край небес,
Ель *надломленная* стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, *рябой и пестрый,*
За листком летит листок,
И струей *сухой и острой*
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон,
С *криком в воздухе кружится*
Стая галок и ворон.
Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И "пошел!" – привстав с нагайкой,
Ямщику денщик кричит.

Конечно, такого рода описаний природы не найдешь ни у Жуковского, ни у Пушкина с Лермонтовым, ни даже у Кольцова. Все это очень мало походит на "Красным полымем заря вспыхнула" или на "В небесах торжественно и чудно"… Краски Некрасова буднично серы, образы удивительно просты, прозаически реальны; отдельные углы рисуемой картины кажутся порой грубыми и неэстетичными. И, однако, странное дело: читатель чувствует себя захваченным, покоренным этой серой, но бесконечно милой красотою северного пейзажа; родная природа

живет и дышит перед его глазами, и невольно хочется воскликнуть: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..”

ГЛАВА VI. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НЕКРАСОВСКОГО ЛИРИЗМА

Мелкие недостатки и великие достоинства

Долго зревшее вдохновение вылилось в могучем и широком аккорде. Как мы только что видели, Некрасов сразу затронул почти все главные мотивы своей поэзии. Нельзя, однако, сказать, чтобы в следующие затем годы муза его отличалась особенной плодовитостью. Выпадали периоды, когда он писал по одному, много – по три небольших стихотворения за целый год (счастливым исключением был только 1853 год, когда возникли целых двенадцать пьес). Напав на настоящую дорогу, осознав настоящее свое призвание, поэт все еще, казалось, не был в себе уверен и с крайней осторожностью, почти с робостью пользовался своим поэтическим даром. Впрочем, следует принять в расчет и то, что для русской литературы это были исключительно тяжелые годы, меньше всего благоприятствовавшие расцвету такой именно музы, как некрасовская (“музы гордой и несчастной, кипевшей злобою безгласной”)…

…Некий образ посещать
Меня в часы работы стал:
С пером, со склянкою чернил
Он над душой моей стоял,
Воображенье леденил,
У мысли крылья обрывал.

Таким образом, за первое десятилетие (1845–1854), кроме указанных уже выше, можно отметить еще лишь следующие выдающиеся стихотворения: “Еду ли ночью”, “Муза”, “Маша”, “Извозчик”, “Памяти Белинского”, “Буря”, “Несжатая полоса”, “Влас”, “Свадьба”, “Блажен незлобивый поэт” и “Внимая ужасам войны”. Все это сравнительно небольшие по объему вещи. Но зато в течение следующих десяти лет (1855–1864), открывших собой новую эру в жизни всей России, Некрасов обнаруживает почти лихорадочную деятельность. Он приступает к созданию широких картин общественной и народной жизни, и первым блестящим опытом этого рода становится поэма “Саша”. Большие вещи чередуются с множеством мелких лирических пьес. Рядом с

“Несчастными”, “Поэтом и гражданином”, “Тишиною”, “убогой и нарядной”, “В больнице”, “Размышлениями у парадного подъезда”, “О погоде”, “На Волге”, “Рыцарем на час”, “Папашей”, “Дешевой покупкой”, “Крестьянскими детьми”, “Деревенскими новостями”, “Коробейниками”, “Морозом, Красным носом”, “Ориной” и “Железной дорогой” необходимо отметить в это время “Праздник жизни”, “На родине”, “Замолкни, Муза”, “Школьник”, “Прости”, “Забытая деревня”, “Тяжелый год”, “В столицах шум”, “Ночь”, “Одинокий, потерянный”, “Плач детей”, “Похороны”, “Свобода”, “Стихи мои”, “Зеленый шум”, “В полном разгаре страда деревенская”, “Надрывается сердце”, “Памяти Добролюбова”, “Благодарение Господу Богу”. Уже из этого неполного перечня произведений Некрасова за 1855–1864 годы видно, что десятилетие это было наиболее кипучим и плодотворным в его творческой деятельности, как чрезвычайно кипучим и плодотворным было оно и в жизни всей России. Муза Некрасова всегда чутко отражала биение общественного пульса страны.

С падением этого пульса в середине шестидесятых годов замечается временный отлив и в поэзии Некрасова: для него это печальный период возрождения фельетона… Он пишет “Притчу о киселе”, “Крещенские морозы”, “Кому холодно, а кому жарко”, “Газетную”, “Песни о свободном слове”, “Балет”, “Суд”, “Еще тройку”… Огромный талант и в это время продолжает, однако, вспыхивать яркими искрами – таковы “Ликует враг”, “Неизвестному другу”, “С работы”, “Стихотворения для детей”, “Медвежья охота”.

Зато последнее десятилетие жизни поэта (1868–1877) отмечено новым чрезвычайным подъемом и ростом поэтического творчества: к этому именно периоду относятся “Русские женщины”, “Кому на Руси жить хорошо”, “На смерть Писарева”, “Душно без счастья и воли”, “Страшный год”, “Памяти Шиллера”, “Три элегии”, “Уныние” и, наконец, несравненные “Последние песни”…

Окидывая мысленным взором эту огромную поэтическую работу, раскинувшуюся на пространстве тридцати двух лет, поражаешься прежде всего яркой определенности, если можно так выразиться – бесспорности писательской физиономии Некрасова. Перед нами резко очерченная, удивительно своеобразная индивидуальность, которую ни с какой другой, на самое даже короткое мгновение, не спутаешь. Лишь очень немногие из самых крупных писателей наших могли бы в этом отношении посоперничать с Некрасовым. Даже, например, Пушкин, при всей исключительности его значения для русской литературы,

остается до сих пор предметом разногласий для критики, хотя о сущности его “пафоса” уже исписаны целые горы бумаги. С одинаковым успехом пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебных друг другу литературных партий… То же или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующий характер его поэзии не подлежит спору. Но против чего, собственно, был направлен его протест – этот вопрос каждый из критиков решал и решает по-своему. Для одних “в поэзии Лермонтова слышались слезы тяжкой обиды”, вызванные тем, что никогда с такой бесцеремонностью, как в николаевское время, права, честь и достоинство человека не приносились в жертву идее бездушного, холодного формализма. Лермонтов, согласно этому мнению, поистине гениально выразил всю ту скорбь, какою преисполнены были его современники. Между тем один из новейших критиков Лермонтова высмеивает такое толкование его поэзии. “Можно ли более фальшиво, – спрашивает г-н Андреевский, – объяснять источник скорби поэта?! Точно в самом деле после николаевской эпохи, в период реформ, Лермонтов чувствовал бы себя как рыба в воде![21] Точно после освобождения крестьян, и в особенности в 60-е годы, открылась действительная возможность “вечно любить” одну и ту же женщину? Или совсем искоренилась “месть врагов и клевета друзей”?… Современный Лермонтову формализм не вызвал у него ни одного звука (?) протеста. Обида, которою страдал поэт, была причинена ему свыше – Тем, Кому он адресовал свою ядовитую благодарность”.

Очевидно, не так легко найти определяющую сущность и лермонтовской поэзии. Относительно Некрасова такого затруднения как будто не существует. Одно имя – и у друзей так же, как у врагов, сразу возникает перед глазами суровый и печальный облик писателя, который “лиру посвятил народу своему”. Поэт сам дал своей поэзии меткое и характерное определение “музы мести и печали” – и оно стало ходячим. Одна ослепительно яркая, скорбная, гневно-рыдающая нота, не умолкая на протяжении тридцати с лишком лет, звучит в его стихах, “народному врагу проклятия суля, а другу у небес могущества моля”. На народе сосредоточены все чаяния, тревоги, любовь и печаль Некрасова; счастье народа – все его помыслы, – народа как совокупности всех трудящихся и обремененных. Но так как подавляющую массу русского народа составляет крестьянство, то немудрено, что поэт всего чаще и охотнее воспевает мужицкое горе. С течением времени русский мужик становится для Некрасова как бы воплощением, символом человеческого страдания, живым образом русского Прометея…

О личных своих муках поэт, так много выстрадавший, столько тяжелого переживший, говорит удивительно мало по сравнению с другими поэтами-лириками, да когда и говорит, то большею частью для того только, чтобы заклеймить себя как плохого гражданина, рассказать о своих ошибках и даже падениях… И самое большое, чего просит он у читателя, у родины, это не верить клевете и простить его за действительные вины… Много нужно иметь зложелательства и бесстыдства, чтобы Некрасова с его целомудренно-скромной, можно сказать – самоотверженной музой обвинять в желании разыгрывать роль “гражданского мученика”!

Как поэт Некрасов – лирик по преимуществу, лирик, исполненный одного сильного и глубокого чувства, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающий ее из виду. Пишет ли он коротенькое лирическое стихотворение, большую ли эпическую вещь, смеется ли, плачет ли – он все тот же; даже когда он рисует простую картинку природы, по проникающему ее грустно-щемящему или умиленно-любовному чувству, по какому-то особенному, *некрасовскому* тону вы тотчас же догадываетесь, что поэт ни на секунду не расстается со своей “сокрушительной думой”.

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели…
Только не сжата полоска одна…

Своеобразный склад, своеобразная музыка; если даже вы не знаете наизусть всего стихотворения, уже этими первыми строчками вы настроены на тон грустного рассказа. Или вот отрывок из “Крестьянских детей”:

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши. Живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи.
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз.
Чу! шепот какой-то… А вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз.
Все серые, карие, синие глазки – С

мешались, как в поле цветы…

В этой бесподобной картинке грусти и следа нет, но все же это не объективно спокойный, эпический рассказ. Разве вы не замечаете здесь разлитого в каждой строчке чувства глубокого умиления, того умиления, которое испытывает человек, рассказывающий о самом дорогом для него и заветном? И таков Некрасов всегда. Даже в произведениях, по внешности строго эпических, посвященных изображению народного быта (“Коробейники”, “Кому на Руси жить хорошо”), он остается, в сущности, лириком, рассматривающим и природу, и жизнь сквозь призму личного чувства. В этом отношении любопытно сравнить Некрасова, например, с Пушкиным.

Лира Пушкина – дивный инструмент, решительно при всяком прикосновении издающий гармонические звуки. Все явления мира, как в зеркале, отражаются в чуткой душе поэта, и он переливает их в яркие поэтические образы, – часто совершенно независимые от собственных его настроений. Так, картины времен года в “Евгении Онегине” никакого видимого отношения не имеют к внутреннему миру героев романа: они вполне объективны и бесстрастны. Сейчас же после трагической смерти Ленского идет такое описание весны:

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Еще прозрачные леса

Как будто пухом зеленеют;
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют,
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Поистине “красою вечною сияет равнодушная природа”! Или – как объективна, например, пушкинская “Туча” (“Последняя туча рассеянной бури”): знаменитое стихотворение, как известно,

внушено было поэту счастливо промчавшейся над его головой грозою из Третьего отделения, а между тем в самой пьесе уже не видно этого личного чувства. Вот это-то уменье поэта как бы отрешаться от собственной личности и ее внутреннего мира и есть первое необходимейшее условие эпического творчества. У Некрасова такого уменья почти не было; в его произведениях все теснейшим образом связано с общим душевным строем автора…

Возьмите, например, картину вырубки леса в некрасовской поэме “Саша”. Тут все до того отражает субъективное настроение юной героини, что читатель проникается даже злобой к “явившимся с топорами” мужикам!.. Эту сравнительную односторонность, эту недостаточную широту поэтической восприимчивости, быть может, следует признать крупным недостатком Некрасова как художника, но в нем же, в этом “недостатке”, нужно искать и причину его огромной силы, секрет необычайной власти над чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэт пушкинского типа вряд ли мог бы с таким блестящим успехом выполнить поэтическую миссию эпохи освобождения…

Подобно мифическому Антею, который делался неодолимо сильным, прикасаясь ногами к матери-земле, Некрасов поднимается во весь рост своего могучего таланта и голос его приобретает полную силу всякий раз, когда он поет о горе народном; напротив, удаляясь от этого главного, возвышающего источника, он как будто ослабевает, утрачивает свои чары. “Чиновника”, “Современную оду”, “Колыбельную песню”, “Нравственного человека”, “Прекрасную партию”, все сатиры 1865–1867 годов, “Недавнее время”, большую сатирическую поэму “Современники” мы знали бы, может быть, не больше, чем многие остроумные стихотворения Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова… С другой стороны, в некоторых и из только что названных сравнительно слабых вещей Некрасов вдруг, точно по мановению волшебного жезла, из юмориста среднего таланта превращается снова в перворазрядного лирика и достигает высоты лучших своих шедевров, как только “попадает на своего конька”, вдохновляется впечатлениями и идеями известного порядка. Вспомните, читатель, то место в “Балете”, вялом и фельетонно-болтливом, где на сцену выходит в крестьянской рубахе Петипа – “и театр застонал”.

Все – до ластовиц белых в рубахе —
Было верно: на шляпе цветы,
Удаль русская в каждом размахе, —
Не артистка – волшебница ты.

Все слилось в оглушительном “браво”,
Дань народному чувству платя,
Только ты, моя муза, лукаво
Улыбаешься… Полно, дитя!

Неуместна здесь строгая дума,
Неприлична гримаса твоя…
Но молчишь ты, скучна и угрюма…
Что ж ты думаешь, муза моя?

На конек ты попала обычный,
На уме у тебя мужики,
За которых на сцене столичной
Петипа пожинает венки.

И ты думаешь: Гурия рая!
Ты мила, ты воздушно-легка,
Так танцуй же ты “Деву Дуная”,
Но в покое оставь мужика!

В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевев, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно…
…

Прямиком через реки, поля
Едут путники узкой тропою:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою.

От утра до вечерней поры
Все одни пред глазами картины:
Видишь, как, обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины,

Видишь, как под кустом иногда
Пропорхнет эта милая пташка,
Что от нас не летит никуда
(Любит скудный наш север, бедняжка!).

Или, щелкая, стая дроздов
Пролетит и посядет на ели;
Слышишь дикие стоны волков

И визгливое пенье метели…

Снежно, холодно… Мгла и туман…
И по этой унылой равнине
Шаг за шагом идет караван
С седоками в промерзлой овчине.

Это едут мужики из города, где сдали в солдаты сыновей, и везут домой страшную кладь – крестьянское горе:

Где до солнца идет за порог
С топором на работу кручина,
Где на белую скатерть дорог
Поздним вечером светит лучина,

Там найдется кому эту кладь
По суровым сердцам разобрать,
Там она приютится, попрячется,
До другого набора проплачется!..

Эта картина безысходного мужицкого горя на сумрачном фоне зимней русской природы – даже и у Некрасова одна из наиболее сильных, а между тем вкраплена она в одно из самых посредственных стихотворений…

Не менее замечательна бурлацкая песня “В гору” (“Хлебушка нет!”), распеваемая разбойничьим хором “героев времени” в остроумной местами, но в общем прозаической и растянутой сатирической поэме “Современники”.

Итак, мы не отрицаем известной односторонности поэтической восприимчивости Некрасова, односторонности, вытекающей из всего душевного строя поэта. С точки зрения требований “чистого искусства” это, конечно, более или менее существенный недостаток. Но, подобно тому как в живом человеческом лице наибольшую прелесть составляет иногда то, что меньше всего отвечает отвлеченным требованиям эстетики, у Некрасова, как мы уже сказали, теоретические недостатки являются нередко источником силы и обаяния его как поэта. Говоря так, мы вовсе не думаем, конечно, утверждать, что поэзия Некрасова свободна решительно от всяких изъянов и недочетов; напротив, их очень много… Мы знаем это ничуть не хуже его многочисленных недругов, отыскивающих малейший предлог, чтобы отнять у своего идейного противника самый титул поэта. Мы только твердо уверены, что Некрасову не страшна никакая

критика и что наши потомки будут еще читать и любить его произведения в то время, когда не останется уже и следа от крикливой славы тех гениев, которых нам ставили и ставят в пример настоящей красоты и величия. Мы даже думаем, что, добросовестно отметив недостатки Некрасова, мы тем лучше сумеем понять, чем в действительности силен Некрасов, что есть в его поэзии великого и непреходящего.

Без обиняков следует, прежде всего, признать тот прискорбный факт, что период долгой подневольной работы, писания фельетонов, водевилей, мелодрам, пародий и юмористических куплетов не прошел для нашего поэта безнаказанно, испортив до некоторой степени его природное чутье художественной меры и такта и отучив тщательно работать над воплощением поэтического образа в стихотворной форме. У нас есть блестящий образчик того, чего мог достичь Некрасов, следуя собственному правилу:

Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно;
Правилу следуй упорно —
Чтобы словам было тесно,
Мыслям просторно!

Мы имеем в виду “Бурю” (“Долго не сдавалась Любушка-соседка”). Напечатанное первоначально в “Современнике” (1850), стихотворение это было длинно и бесцветно; в печати его осмеяли… Но три года спустя Некрасов переделал пьесу, сократив больше чем наполовину, снабдив более певучим метром и расцветив удивительно жизненными красками; “Буря” стала неузнаваемой! К сожалению, такую виртуозность в обработке формы поэт проявлял далеко не всегда; обыкновенно он почти не делал поправок в напечатанном раз тексте, оставляя без внимания все указания и насмешки критиков.

Примеров не только стилистических, но и поэтических промахов Некрасова можно привести немало. Одним из самых важных, на наш взгляд, является уже много раз отмеченное критикой центральное место в стихотворении “Еду ли ночью”. Эта превосходная в общем вещь пользовалась и пользуется вполне заслуженной популярностью; чего стоят хотя бы первые строки:

Еду ли ночью по улице темной,
Бури ль заслушаюсь в пасмурный день, —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!

Тут опять сказывается обычная способность Некрасова несколькими словами сразу создать у читателя известное душевное настроение: вы не прочли еще следующего стиха, а сердце уже стеснилось “мучительной думой”. И вот в это-то удивительное стихотворение Некрасов ввел психологически невероятную мелодраму: молодая гордая женщина сейчас же после смерти ребенка, в виду его еще не остывшего трупа и на глазах у больного мужа, “принаряжается, будто к венцу”, и идет на улицу продавать себя… Для чего? Для того только, чтобы купить “гробик ребенку и ужин отцу”. Но для этого так немного нужно, что было бы, конечно, достаточно продать “венчальный” наряд! Если бы момент был выбран поэтом несколько иной, если бы, например, мать отправилась на улицу, видя страдания своего ребенка и надеясь еще спасти его, мы бы ее поняли; но то положение, которое изображает Некрасов, не вызывает к себе ни малейшего сочувствия, потому что оно по существу фальшиво. Разумеется, ни одна в мире женщина так не поступит…

Такой же мелодрамой, немыслимой в живой действительности, следует назвать и ту сцену во второй части “Несчастных”, где каторжники хором отпевают “в бешеном весельи” своего *умирающего* товарища. Совсем не так ведут себя в подобные минуты русские арестанты (вспомним, например, сцену смерти Михайлова в “Записках из Мертвого дома” Достоевского) … Не говорим уже о том, что нигде в России каторжных не держат в подземельях (у Некрасова действие происходит вечером – значит, не в рабочее время). В тех же “Несчастных” Крот заинтересовывает арестантов рассказами о Петре Великом. Казалось бы, достаточно посвятить этим рассказам два-три, много – пять вечеров, у Некрасова же – *“сто* вечеров до поздней ночи он говорил нам про него”! К слову сказать, в цифрах наш поэт вообще не знает меры. Чиновник из “Филантропа” (напечатанного в 1853 году) рассказывает про себя: “Минет *сорок* лет зимой, как я щеку стал подвязывать, отморозивши хмельной”. Действие рассказа относится этим фактом ко времени нашествия французов, а Некрасов имеет, конечно, в виду обличение современной ему эпохи. Помещик из “Кому на Руси жить хорошо” тоже *сорок* лет безвыездно живет в деревне, а между тем не умеет отличить ржаного колоса от ячменного… В лютый крещенский мороз в Петербурге Некрасов на пространстве *пяти* саженей насчитывает до *сотни* отмороженных щек и ушей… У присутственных мест в том же Петербурге стоят *сотни сотен* (значит самое меньшее – сорок тысяч!) крестьянских дровней…

Вычурным и неестественным кажется нам конец прелестного стихотворения “Выбор”, где девушка, задумавшая наложить на себя руки, ничего лучшего не находит, как броситься вниз головой… с огромного дерева. В поэме “Дедушка” сын, встречающий возвращенного из ссылки отца-декабриста, “пред отцом преклонился, *ноги омыл старику”*… Княгиня Волконская скатывается вместе с кибиткой “с высокой вершины Алтая” – и ничего, остается жива и здорова (уж не подчеркиваем, что “вершины Алтая” стоят далеко в стороне от ее дороги).[22] Фигура Савелия, “богатыря святорусского”, несет явную печать гиперболы и шаржа, а сентиментальная история с губернаторшей точно взята из какого-нибудь пасторального романа… В главе “Счастливые” (в той же поэме “Кому на Руси жить хорошо”) бросается в глаза следующий досадный недосмотр. В пьяную праздничную ночь, расположившись за деревней под густой липой, странники “прокликивают клич” в толпе слоняющихся кругом подвыпивших мужиков: “Нет ли где счастливого? На славу угостим!” И вот вместе с разными другими счастливцами “пришел с *тяжелым молотом* каменотес-олончанин”. Спрашивается: откуда и зачем взялся у него в такую пору молот? Конечно, он явился на сцену единственно для красоты слога… Подобных промахов и недосмотров у Некрасова не оберешься. В первоначально напечатанном тексте стихотворения “В деревне” были стихи: “Добрая барыня Марья Романовна на три *молебна* дала” (вместо “панихиды”)… И еще: “Деньги семнадцать рублей за упокой *его* душеньки подали” (выходило: за упокой душеньки медведя)… Но эти обмолвки были позже устранены поэтом. Зато в “Буре” так и остался навсегда стих:

Промочила ножки и хоть выжми *шубку,* —

хотя речь идет о летней грозе… Но всего досаднее недосмотр в превосходной картине рубки леса в поэме “Саша”:

Там, из-за старой нахмуренной ели,
Красные грозди калины глядели…

Значит, дело происходит осенью (осенью и производится обыкновенно рубка леса); но дальше появляются вдруг разевающие желтые рты галчата, которые выводятся только весною…

Прозаические обороты и целые тирады, к сожалению, нередко врываются у Некрасова диссонансом в самые безукоризненные

вещи, написанные “бессмертной красоты стихами”. В “Рыцаре на час”, например, читаем:

Даль глубоко-прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета:
Голубой, беловатый, лиловый…

Или в замечательную по поэтическому, чисто народному колориту песню воеводы Мороза (в поэме “Мороз, Красный нос”), обходящего дозором свои лесные владенья, замешиваются каким-то образом такие грубые стихи:

Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам – хоть руби топором!

Наконец, в “Крестьянских детях” есть такое стихотворное рассуждение:

Положим, крестьянский ребенок свободно
Растет, не учась ничему…

Этот, как видит читатель, довольно длинный перечень промахов и изъянов при желании можно бы увеличить, но зачем? Что этим было бы доказано? По нашему мнению, только то одно, что высокодаровитый поэт, превосходно знавший русскую действительность и русскую природу, на заре жизни, когда другие юноши еще учатся, спокойно и беспрепятственно развивая свои способности, прошел уже тяжелую школу черной литературной работы, постоянной спешки и лихорадочного возбуждения. Не получив систематического образования, Некрасов по всей справедливости может быть назван гениальным самородком. Указывать на слабости и частные промахи его в доказательство того, что он не был поэтом, – нелепо, дико. Если бы мы захотели привести из Некрасова – в качестве не аргумента, а лишь примера – какое-нибудь стихотворение, отрывок высокой художественной ценности, мы сильно затруднились бы выбором: до того много у Некрасова истинно поэтических, прекрасных стихов и так много каждый из нас знает их наизусть. Но, конечно, читатель с удовольствием перечитает еще раз следующие строки,

равных которым по красоте не много знает русская поэзия:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор…
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем —
И не нашел я ничего!..
Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!
И ныне жадно поверяю
Мечту любимую мою
И в умиленьи посылаю
Всему привет…
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль —
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…
Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,

Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

Напомним еще картину другого возвращения поэта на родину – в начале поэмы “Саша”; также – изображение девичьей тоски по милому в “Коробейниках” (“Хорошо было детинушке”) или горя оскорбленной, поруганной женщины-матери в “Крестьянке” (“Я пошла на речку быструю”). А какие оригинальные, чисто народные картины родной природы встречаются в главном создании Некрасова– “Кому на Руси жить хорошо”!

Весной, что внуки малые,
С румяным солнцем-дедушкой
Играют облака:
Вот правая сторонушка
Одной сплошною тучею
Покрылась-затуманилась,
Стемнела и заплакала!..
Рядами нити серые
Повисли до земли.
А ближе, над крестьянами,
Из небольших, разорванных
Веселых облачков
Смеется солнце красное,
Как девка из снопов.
Но туча передвинулась,
Поп шляпой накрывается —
Быть сильному дождю.
А правая сторонушка
Уже светла и радостна,
Там дождь перестает:
Не дождь – там чудо Божие,
Там с золотыми нитками
Развешаны мотки…

Мы намеренно не называем здесь стихотворений, посвященных памяти мученицы-матери, или таких как “Ликует враг”, “Душно без счастья”, “Баюшки-баю” и т. п., чтобы нам не сказали: в этих вещах пленяет вас не поэзия собственно, а глубина человеческого страдания или высота гражданского

чувства… Никакого отношения к этому последнему не имеет, например, следующее, мало почему-то известное, но удивительно поэтическое стихотворение:

Тяжелый год – сломил меня недуг,
Беда застигла, счастье изменило;
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!

Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами.
Страдалица! Стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!

Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,

Жестокие, неправые… Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!

Но ты не слушаешь…

Ведь это целая повесть разбитого существования… Видишь воочию эту женщину, ожесточенную долгими страданиями и обидами жизни, измученную подозрениями, утратившую веру в любовь и дружбу…

Жрецы и поклонники чистого искусства не любят Некрасова между прочим за его “тенденциозность”. Но, прежде всего, что такое тенденциозность? Стремление уложить живую жизнь на прокрустово ложе предвзятых мнений и выводов. Разумеется, каждый писатель, каждый художник изображает жизнь так, как она *ему* представляется, то есть всегда до известной степени субъективно. Если угол его зрения необычен, исключителен, то мы можем получить одностороннее, неверное изображение жизни; и, однако, тенденциозным его можно будет назвать лишь в том случае, если художник сознательно, намеренно извратит истину. Такого намеренного, холодно-рассудочного извращения у Некрасова нет. В этом лучше всего можно убедиться, анализируя его песни “О погоде”, чаще всего подвергавшиеся нападкам критики. Говорят: какая сплошная гипербола! Какие кричащие

краски! Вот – погонщик, бьющий поленом заморенную клячу; вот – мчащаяся во весь опор и задевающая за похоронные дроги коляска: “гроб упал и раскрылся”… В нем оказывается труп чиновника, погоравшего четырнадцать раз…

Все больны, торжествует аптека
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека,
В ком бы желчь не кипела ключом…

Гипербола, не спорим, налицо, сгущенные, режущие глаза краски – также. И тем не менее в песнях “О погоде” мы видим сильную, горячую, искреннюю лирику. Все дело в том, что автор и не имел вовсе в этом произведении в виду психику и логику здоровых, счастливых людей. К их числу не принадлежал, конечно, в то время, когда слагались песни “О погоде” (1859), и он сам, истосковавшийся по идеалу, издерганный жизнью, которая на каждом шагу с ожесточением била по его туго натянутым нервам. В эти томительно долгие предрассветные годы, когда надежды на близкое обновление то разгорались ярким пламенем, то внезапно гасли и исчезали, жилось особенно тяжело, и Некрасов, и без того мало отрадного испытавший в жизни, в песнях “О погоде” с несомненно глубокой искренностью и верностью действительности выразил тогдашнее больное, желчно-озлобленное настроение петербургского интеллигента, – то настроение, когда при утреннем пробуждении кажется, что “начинается день безобразный, мутный, ветреный, грязный”, когда “злость берет, сокрушает хандра, так и просятся слезы из глаз”…

Дикий крик продавца-мужика,
И шарманка с пронзительным воем,
И кондуктор с трубой, и войска,
С барабанным идущие боем,

Понуканье измученных кляч,
Чуть живых, окровавленных, грязных,
И детей раздирающий плач
На руках у старух безобразных —

Все сливается, стонет, гудёт,
Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет!

Ведь не надо было обладать умом Некрасова, чтобы понимать, что “все” не могут быть больны в Петербурге даже и при самой ужасной осенней погоде; и задумай Некрасов написать вещь, хладнокровно рассчитанную на эффект, он, конечно, сумел бы обойтись без подобных lapsus'ов. Но он был поэт искреннего, могущественно захватывающего чувства; он глубоко переживал те настроения, которые передавал в своих произведениях, и отсюда-то, быть может, произошли многие из тех мелких промахов, о которых мы выше говорили и которые при первом взгляде так поражают в этом quasi-холодном, quasi-прак-тическом таланте. Почти каждое стихотворение Некрасова написано кровью сердца и соком нервов. Вот почему у него совсем мало вещей неинтересных, которыми так богаты жрецы чистого искусства. Недостатки формы отыщутся у Некрасова в самых безукоризненных (вроде даже “Рыцаря на час”) произведениях, но зато и в самых слабых вы подметите у него достоинства, благодаря которым он на голову возвышается над своими собратьями. Стихи его всегда вытекают из живого человеческого чувства, из бодрой, деятельной мысли…

ГЛАВА VII НЕКРАСОВ, КАК ПЕВЕЦ ТРУДЯЩИХСЯ И ОБЕЗДОЛЕННЫХ

“Он проповедовал любовь враждебным словом отрицанья”. С отрицания, конечно, и должен был начать всякий передовой писатель эпохи борьбы за освобождение. Но если Некрасов и после того, как “порвалась цепь великая”, вместо ликующих гимнов продолжал прежнюю отрицательную работу, будя общество тревожным вопросом: “Народ освобожден, но счастлив ли народ?” – то и в этом отношении он не занимал исключительного положения среди наших лучших писателей. По общим условиям нашей гражданственности только такая работа и была у нас возможна: развитие положительной стороны передового мировоззрения встречало всегда неодолимые препятствия…

“Иных времен, иных картин провижу я начало в случайной жизни берегов моей реки любимой”, – мечтает поэт в маленькой поэме “Горе старого Наума”. “Освобожденный от оков, народ неутомимый созреет; густо заселит прибрежные пустыни; наука воды углубит… По гладкой их равнине суда-гиганты побегут несчетною толпою, и будет вечен бодрый труд над вечною рекою!.. Мечты!.. Я верую в народ…” Если не считать следующих затем выразительных строк, сплошь состоящих из точек, то нарисованную в приведенных стихах картину грядущего народного счастья нельзя не признать довольно-таки смутной… Кого, однако, винить в этом?

Не раз упрекали Некрасова в том, что он и современную ему действительность изображал одними мрачными, отрицательными красками, не видя в ней решительно ничего светлого, отрадного. Но эти упреки совершенно неосновательны: поэзия Некрасова изображает и то положительное, что было в русской жизни. Такова хотя бы целая галерея обаятельных портретов народных заступников и печальников, нарисованных поэтом в целом ряде произведений; перед нашими глазами проходят Грановский, Белинский (непосредственно и в образе Крота в “Несчастных”), Добролюбов, поэт-семинарист Гриша, Ермила Гирин, Саша (этот прелестный степной цветок, еще не вполне распустившийся), “дедушка”-декабрист, герои и героини стихотворений “Пророк”, “Кузнец”, “Ты не забыта”, собственная, наконец, мать поэта… Но главным положительным героем Некрасова является сам русский народ в лице его главной составной части – крестьянства… Мы только что привели признание поэта: “Мечты!.. Я верую в

народ…” В устах Некрасова это не красивая только фраза, а действительная “мечта” исстрадавшегося сердца, его последнее прибежище и святыня.

Воспевать мужицкие страдания поэт начал, как мы видели, рано, с первого же стихотворения, создавшего ему известность; но нота настоящей влюбленности в народ зазвучала в стихах его не сразу. Когда по окончании Крымской войны всем стало ясно, что идти дальше по пути мрака и застоя Россия не может, не рискуя своим историческим существованием, общество русское вдруг поняло, что есть *некто,* чьи интересы в тысячу раз важнее для блага и счастья родины, чем интересы небольшой своекорыстной кучки дворян. То был великий исторический момент… Могучая общественная волна подняла и Некрасова; в поэзии его, более свободно звучавшей теперь, чем в сороковые годы, появились новые, то гневные, то восторженные ноты… Одно за другим стали выходить в свет наиболее сильные и характерные его произведения.[23] К сожалению, размеры настоящей статьи не позволяют нам распространиться о том, какую видную роль сыграли эти произведения в возникновении и развитии того замечательного идеалистического движения в нашей литературе, которое известно под именем народничества. Недаром так любил Некрасова один из главных его представителей – Г. И. Успенский.

Но как же, собственно, рисовал себе Некрасов выступившего на историческую сцену “прекрасного незнакомца”? Не видел ли он в русском народе, подобно славянофилам-почвенникам, особой мистической глубины, делающей его народом-избранником, образцом и поучением для “гнилого” Запада? Ради великих страданий, выпавших на долю народа, не закрывал ли глаз на его теневые, отрицательные стороны? Ничего подобного. Ни квасного, ни мистического элемента нет и следа в любви Некрасова к крестьянину, доходящей порою до восторженного удивления, но остающейся всегда здоровой и трезвой.

Брабстве спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное! —

вот что в особенности привлекает поэта в русском народе: его гуманность, терпимость даже к врагу, его героическая бодрость в страдании.

Его ли горе не скребет?
Он бодр, он за сохой шагает,

Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя,
За личным счастьем не гонись
И Богу уступай, не споря!

Пресловутое мужицкое терпение, которое в минуты отчаяния поэт сам клеймит не раз именем рабского отупения, в моменты более спокойные представляется ему свойством того же “спасенного в рабстве” “золотого” сердца. Это – не холопство, не нравственное падение, а, напротив, результат сознания своей могучей стихийной силы, которую никакое испытание сломить не может, беззаветная вера в конечное торжество правды, глубокое чувство общественной солидарности, наконец – органическое отвращение к насилию, природное добродушие…

Княгиня Волконская, по дороге к мужу-декабристу оскорбленная офицером-бурбоном, заходит в убогую сибирскую церковь и просит попа отслужить молебен.

За что мы обижены столько, Христос,
За что поруганьем покрыты? —
И реки давно накопившихся слез
Упали на жесткие плиты.
Толпа богомольцев-простолюдинов остается молиться вместе с нею.
Казалось, народ мою грусть разделял,
Молясь молчаливо и строго,
И голос священника скорбью звучал,
Прося об изгнанниках Бога.
Убогий, в пустыне затерянный храм!
В нем плакать мне было не стыдно,
Участье страдальцев, молящихся там,
Убитой душе не обидно!

В другой раз при мысли о народе из измученной груди княгини вырываются следующие трогательные слова, несомненно выражающие мысль самого поэта:

Быть может, вам хочется дальше читать,
Да просится слово из груди:
Помедлим немного… Хочу я сказать
Спасибо вам, русские люди!

В дороге, в изгнаньи, где я ни была,
Все трудное каторги время —
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.

Пусть много скорбей тебе пало на часть —
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!..
Ты любишь несчастного, русский народ…

Превосходными образчиками гуманности этого народа и его способности сочувствовать всему живому и страдающему служат два прекрасных стихотворения: “Похороны” (отношение крестьянина к захожему человеку, который по неизвестной причине наложил на себя руки) и “С работы” (голодный крестьянин прежде всего заботится о том, чтобы была накормлена его голодная лошадь). С редким добродушием и терпимостью выслушивают некрасовские мужики (в “Кому на Руси жить хорошо”) самозащиту помещика и попа, которых не имеют, конечно, особенных причин любить и жаловать, а выслушав – признают, что в этой защите есть доля правды, и решают исключить попа и помещика из списка предполагаемых счастливцев…

Такое понимание “сердца народного” не мешает Некрасову, как мы уже говорили, ясно видеть все недостатки и даже пороки народа, и прежде всего – его умственную темноту и заскорузлое невежество, делающие его способным на поступки, о которых в лучшем случае только и можно сказать: sancta simplicitas![24] – как о той старухе, которая, желая угодить Богу, принесла вязанку дров на костер Гуса. Достаточно указать на стихотворение “Так, служба! сам ты в той войне дрался – тебе и книги в руки”, где рассказывается ужасная история идиотски-добродушного избиения мужиками целой семьи пленных французов. Стихотворение это подвергалось не раз ожесточенным нападкам “патриотической” критики как грубая фальшь и чуть ли даже не злостная клевета на народ, и поэт, очевидно, вняв ей, поместил в конце концов пьесу в отдел “Приложений”. Между тем в доказательство того, что сюжет ее не придуман, что в “великом” двенадцатом году подобные истории случаться могли, можно бы привести аналогичную историю, рассказанную Тургеневым в “Однодворце Овсянникове” (“Записки охотника”). Сравнив две

эти истории, мы видим, что у Некрасова есть нечто если не оправдывающее, то по крайней мере объясняющее ужасный поступок крестьян: они убивают француза, очевидно, в порыве “патриотического” озлобления:

Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя *щенками:*
Тотчас ухлопали мусью,
Не из фузеи – кулаками!

А дальше в убийцах просыпается человеческое чувство сожаления, хотя и нашедшее себе исход в уродливо-диком, ужасном поступке. У Тургенева дело происходит несравненно проще и потому ужаснее. Крестьяне Смоленской губернии, поймав “француза” Леженя, не “тотчас ухлопывают” его, а запирают на ночь в пустую сукновальню и лишь наутро приводят к проруби и предлагают “уважить” их – нырнуть под лед речки Гнилотерки. Француз, конечно, упрямится; тогда мужики, не оставляя добродушной насмешливости, начинают поощрять его “легкими” толчками в шею… Патриотическое озлобление до такой степени отсутствует, что когда проезжий помещик предлагает крестьянам в качестве выкупа за Леженя двугривенный на водку, они отвечают ему хором: “Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его”.

Но если стихотворение “Так, служба!..” далеко от идеализации русского народа, то надо сказать, что оно не единственное у Некрасова. Можно отыскать немало страниц в его произведениях, где рисуются даже прямо отталкивающие нравы и типы народные: “Тройка”, “Проводы”, “Кумушки”, “Влас” (до его перерождения), “Крестьянский грех” в “Пире на весь мир”. Отнюдь не могут быть названы идеализированными и такие лица, как Ванька и Тихоныч, главные герои “Коробейников” (этой лучшей народной поэмы Некрасова).

Со всем тем не подлежит, конечно, спору, что достоинства народного характера бесконечно перевешивают в глазах нашего поэта все недостатки и пороки. И в общем поэзия Некрасова может быть рассматриваема именно как сплошной восторженный гимн трудящимся, рабочим слоям русского народа. Для иллюстрации этого положения нам пришлось бы выписать чуть не половину его книги… Чем, например, иным, как не гимном труду, следует назвать всю поэму “Мороз, Красный нос”? Какой теплотой и любовью дышит каждый штрих хотя бы этой прелестной, изумительной по реальности красок картинки летней крестьянской работы!

Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.
Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковкой в руке.
Телега, скрипя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.
– Бог помощь! А где же Гришуха? —
Отец мимоходом сказал.
“В горохах”, – сказала старуха.
Гришуха! – отец закричал,
На небо взглянул. – Чай, не рано?
Испить бы… – Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.
Гришуха меж тем отозвался;
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.
Бежит!., у, бежит постреленок,
Горит под ногами трава…
Гришуха черен, как галчонок,
Бела лишь одна голова…
Машутка отцу закричала:
Возьми меня, тятька, с собой, —
Спрыгнула с мешка и упала,
Отец ее поднял: “Не вой!
Убилась – не важное дело,
Девчонок не надобно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!
Смотри же…”
Жена застыдилась:
Довольно с тебя одного! —
(А знала – под сердцем уж билось
Дитя)… “Ну, Машук, ничего!” —
И Проклушка, став на телегу,
Машутку с собой посадил;
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.

Воробушков стая слетела
С снопов, над телегой взвилась,
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей…

Во избежание каких-либо недоразумений спешим повторить сделанную уже в предыдущей главе оговорку. Народ, сосредоточивающий на себе все внимание, все тревоги и чаяния поэта, есть совокупность всех трудящихся масс населения, без различия классов и орудий труда; на Некрасова нельзя смотреть поэтому как на певца и адвоката исключительно крестьянского горя. Если последнее он воспевал, действительно, всего чаще и охотнее, то объясняется это вполне естественно и просто: крестьянство составляло во времена Некрасова (как, впрочем, и до сих пор составляет) подавляющую по своей численности массу русского населения и притом являлось главной жертвой царившего зла (а крепостное право было лишь наиболее ярким его проявлением). Страдания мужика были, таким образом, в глазах Некрасова как бы символом страданий всего русского народа… Но все забитые, все обездоленные одинаково находили в нем своего певца и друга….[25]

Среди жертв человеческого насилия, жестокости и невежества, быть может, наиболее беззащитной является женщина:

Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого!

И русская женщина, на какой бы ступени общественной лестницы она ни стояла, нашла в лице Некрасова одного из пламеннейших своих адвокатов. Устами любимого героя (Гриши) Некрасов высказывает уверенность, что затерянные ключи от счастья женского будут все же когда-нибудь разысканы (“Еще ты в семействе покуда раба, но мать уже вольного сына!”).

Нарисованные им женские образы – одни из самых пленительных в русской литературе. Прежде всего это образ собственной матери поэта, воспетой во множестве стихотворений

и поэм; затем – Катерина из “Коробейников”, Саша из поэмы того же названия, Дарья из “Мороза”, княгини Трубецкая и Волконская, Матрена Тимофеевна из “Кому на Руси жить хорошо”. Далее следуют героини мелких стихотворений: “Я посетил твое кладбище”, “Памяти Асенковой”, “Свадьба”, “В больнице”, “Тяжелый крест достался ей на долю”, “Дешевая покупка”, “В полном разгаре страда”, “Песня Любы”…

Рядом с женщиной немало теплых страниц посвящено Некрасовым и детям.[26]

> Равнодушно слушая проклятья
> В битве с жизнью гибнущих людей,
> Из-за них вы слышите ли, братья,
> Тихий плач и жалобы детей? —

с болью и ужасом спрашивал поэт, и в произведениях его то и дело встречаются то глубоко трогательные картинки из детской жизни, то негодующие обращения к обществу, которое недостаточно озабочено охраной этих беспомощных, беззащитных существ (“Мороз, Красный нос”, “Плач детей”, “Несчастные” (первая часть), “О погоде”, “Крестьянские дети”, “Деревенские новости”, “Демушка” и “Волчица” в “Кому на Руси жить хорошо”).

Специально для детей написан им целый ряд всем известных и столь любимых детьми стихотворений.

“Любит *несчастного* русский народ”, – писал поэт, и в его собственной душе тоже нашелся уголок для несчастных отверженцев человеческого общества. Кроме стихотворений “Еще тройка” и “Благодарение Господу Богу” у Некрасова есть целая большая поэма (“Несчастные”), посвященная ссылке и каторге. К сожалению, поэма эта, нестройная в целом (первая часть чисто формально связана со второй), страдает крупными частными недостатками. Лицо, от имени которого ведется рассказ, до конца остается неясным и бледным; образ убитой женщины не выдержан: в первой части – это “ангел в грозе и демон у пристани желанной”, а во второй части – “женщина пустая, с тряпичной дюжинной душой”… Растянутость (особенно первой части) также вредит впечатлению. И при всем том “Несчастные”, благодаря пронизывающему их теплому, гуманному чувству, массе поэтических подробностей, а главное – яркой и оригинальной фигуре Крота (Белинского), до сих пор остаются одной из популярнейших поэм Некрасова. Описывая каторгу задолго до появления “Записок из Мертвого дома”, Некрасов, естественно, сделал несколько крупных промахов в обрисовке этого совершенно неведомого тогда русскому обществу мира.

Замечательно, однако, что поэтическим чутьем он сумел угадать некоторые чрезвычайно жизненные и правдивые черты из быта “несчастных”. Таково, например, страстное стремление арестантов к свету знания, их любовно-внимательное отношение к рассказам попавшего в их среду образованного человека:

Забыты буйные проказы,
Наступит вечер – тишина,
И *стали* нам его рассказы
Милей разгула и вина…
Никто сомкнуть не думал очи
И не промолвил ничего.
Он говорит – ему внимаем
И, полны новых дум, тогда
Свои оковы забываем
И тяжесть черного труда.

Из многочисленных и разнообразных мотивов некрасовской поэзии отметим еще мотив пробуждающегося человеческого достоинства у приниженного и обезличенного раба. Впервые был затронут Некрасовым этот мотив еще в 1848 году в стихотворении “Вино” (“Без вины меня барин посек, сам не знаю – что сталось со мной…”), и к нему не раз возвращался он впоследствии: вспомним хотя бы “На постоялом дворе” (“Из ночлегов”) и своеобразное проявление того же чувства в притче “Про холопа примерного – Якова верного”:

Крепко обидел холопа примерного,
Якова верного
Барин, – холоп задурил!

Полное духовное перерождение человека, нравственно, казалось, совершенно погибшего, поэт рисует нам отчасти в “Горе старого Наума”, особенно же ярко – в знаменитом “Власе”, который как бы символизирует таящиеся в русском народе огромные силы…

Рядом с народною жизнью внимание Некрасова часто останавливается и на разных течениях русской общественной жизни, на нарождающихся типах интеллигенции. В лице Агарина перед нами оригинальная разновидность Рудина; в “Медвежьей охоте” – насмешливая характеристика русского “общественного мнения” и “либерализма”; в “Современниках” – типы всевозможных дельцов и аферистов (еще в 1846 году в

стихотворении “Секрет” Некрасов выразил свое крайне отрицательное отношение к нарождавшейся русской “буржуазии”). Стихотворения “Песня Еремушке”, “Она была исполнена печали”, “Песня Любы”, “Я сбросила мертвящие оковы” и прочие рисуют любопытные общественные настроения иного характера. Гриша (“Пир на весь мир”) – представитель поколения семидесятых годов, которое несло в народ свои знания и любовь… Поэт верит, что русская интеллигенция посеет добрые семена на почве богатого, но дремлющего народного духа, – и русский народ скажет ей “спасибо сердечное”… Остается отметить ряд наиболее проникновенных и трогательных стихотворений Некрасова, в которых он высказывает свой взгляд на роль писателя вообще и на свое писательское призвание в частности. Назначение поэта, по его мнению, – “напоминать человеку высокое призвание его”, чтоб “человек не мертвыми очами мог созерцать добро и красоту”.

Казни корысть, убийство, святотатство,
Сорви венцы с предательских голов!

Таков идеал поэта-гражданина, поэта-бойца, который рисуется Некрасову в его задушевнейших мечтаниях, но который для себя самого он считает недосягаемым:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

Идея эта с особенной настойчивостью высказана в известном диалоге “Поэт и гражданин”. Смелый призыв гражданина: “В такое время стыдно спать!” – встречает в душе поэта одно отчаяние. В свободном слове есть отрада, соглашается он, – но дело в том, что лира его никогда не была свободной: при первых же звуках ей пришлось умолкнуть… А умереть – не хватило мужества:

Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои. —
Душа пугливо отступила…
…
Склонила муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.

И поэт решает: “Шел один венок терновый к ее угрюмой красоте…”

Самооценка, несомненно, крайне субъективная и несправедливая, но характерно, что она проходит яркою нитью через всю поэзию Некрасова. Самодовольство ей чуждо, противно, – черта, делающая нравственный облик нашего поэта особенно симпатичным и привлекательным. Только в очень редких, исключительных случаях с лиры его срывается гордый, счастливый звук: поэт сознает, что по мере сил выполнил свою великую миссию служения народу… Таково предсмертное стихотворение:

О муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский – взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу…

ГЛАВА VIII. КРИТИКИ И ЧИТАТЕЛИ

Болезнь и смерть. – Прочность славы Некрасова

Поэт не ошибался в своем предсмертном провидении. Если отыскивались и, быть может, не раз еще отыщутся отдельные судьи, неправедные и немилостивые, то в общем “живой, кровный союз” меж ним и всеми “честными сердцами” установился прочно, и, нужно думать, с годами он будет лишь расти и крепнуть. Но Некрасову пришлось вести долгую и тяжелую борьбу для того, чтобы завоевать общее признание.

“Если бы дать больше места выдержкам из отзывов критики, то каждый наглядно убедился бы, как долго и упорно печать наша не признавала всей силы поэтического значения Некрасова и как публика сама поняла и полюбила поэта. Некрасов занял сам с бою, без союзников, свое настоящее положение в русской литературе”, – так писал в 1879 году С. И. Пономарев в послесловии к первому посмертному изданию стихотворений поэта, которое он редактировал. В самом деле, просматривая три части изданного г-ном Зелинским “Сборника критических статей о Некрасове” (доведенного лишь до 1877 года), мы видим, что в течение почти всех сороковых годов критика наша хранила о поэте глубокое безмолвие, а за следующее десятилетие появилось всего лишь несколько незначительных отзывов, в одном из которых Эраст Благонравов писал: “Трудно найти стихотворца, который был бы меньше поэт, чем Некрасов”. Автор другого отзыва, Аполлон Григорьев, заявлял (уже в 1855 году), что не находит поэзии в доселе напечатанных стихах Некрасова, за исключением лишь стихотворения к падшей женщине (“Когда из мрака заблужденья…”).

Вышедшее в 1856 году первое издание стихотворений Некрасова было раскуплено публикой с изумительной быстротою, но в печати не вызвало ни одной статьи, ни одной самой коротенькой рецензии!

Объясняется это, конечно, тем, что “Современник”, отражавший взгляды и настроения молодой России, в сердце которой стихи Некрасова нашли такой сочувственный отклик, издавался самим поэтом, и на страницах этого журнала похвала Некрасову не могла найти себе места. Один только раз Добролюбов (и то не называя имени Некрасова, хотя имея в виду, очевидно, его) высказал мнение, что Пушкин, Лермонтов и Кольцов уже нашли себе достойного продолжателя… Что касается

остальных органов печати, то они находились в руках людей поколения отживающего, понимавшего поэзию прежде всего как служение “красоте”. Само собой разумеется, что в таких критиках поэзия Некрасова в лучшем случае вызывала недоумение…

Только в начале шестидесятых годов, когда широкий поток новых общественных идей проник во все уголки обновленной России, повлияв прежде всего на печать, последняя сразу заговорила о Некрасове как о признанном уже “властителе сердец” молодого поколения. В это время, как бы поддавшись общему энтузиазму, переменили о нем к лучшему мнение и наиболее искренние представители поколения старшего, вроде Аполлона Григорьева, который с восторгом отзывался теперь о “народном сердце” Некрасова и о “почвенности” его поэзии.

Но вот схлынула живая волна… “Призванная к порядку”, русская жизнь опять начала замирать и принимать “благообразный” вид. Свежие, молодые голоса замолкли, и это опять не замедлило сказаться на отношении критики к Некрасову. К тому же, как мы видели, последний сам не устоял в этот тяжелый период на прежней высоте и, поскользнувшись, дал новую пищу злорадству врагов; клевета “снежным комом покатилась по Руси, по родной”… Наиболее тяжелым и мучительным для Некрасова был 1869 год. Господа Антонович и Жуковский, недавние друзья, поддавшись чувству мелкого, самолюбивого озлобления, выпустили против Некрасова целую обличительную брошюру, “Материалы для характеристики современной русской литературы”, где, развенчивая Некрасова как журналиста и человека, пытались подкопаться и под его поэзию. “Вам так же легко перестроить вашу лиру на совершенно новый лад, – развязно обращался г-н Антонович к Некрасову, – как вашему другу (?) г-ну Краевскому легко променять прежний образ мыслей на новый; вы с одинаковым увлечением и искусством можете и восхвалять, и порицать один и тот же предмет, вам ничего не стоит метать громы гражданского негодования в какого-нибудь вельможу, швейцар которого отогнал от его подъезда “деревенских русских людей”, а завтра рабски льстить ему и прославлять его доблести восторженным мадригалом; вам нужна только тема, какова бы она ни была, а вы уж обработаете ее поэтически…” Словом, отрицалась в поэте всякая искренность, всякое убеждение.[27]

Нечего и говорить, что, несмотря на искусную и сильную отповедь И. А. Рождественского, в том же году выпустившего – без ведома Некрасова – ответную брошюру “Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского”, во враждебном Некрасову литературном лагере нападки на него встретили самый

радостный прием. Страхов писал в “Заре”: “Наиболее значительная часть нашей печати (либеральная) живет одною фальшью, сознательно и постоянно кривит душою. Не раздается ни одного искреннего, прямого голоса; все лукавит, иезуитствует, прислуживается (!), все покорно гнет перед чем-нибудь или перед кем-нибудь свою совесть и свои помыслы… Книжка гг. Антоновича и Жуковского представляет, очевидно, реакцию. Лжи накопилось столько, что наконец сознание ее начинает прорываться наружу… Обличение Некрасова важно для тех, кто видел в нем некоторое светило либерализма; но многие, и давно уже, смотрели иначе. Самые стихи Некрасова, в которых так много говорится о народных страданиях, давно уже, несмотря на их несомненные замечательные достоинства, признаны (?) не выражающими полного сочувствия народу, не проникнутыми его действительным пониманием. Это – сатиры, карикатуры, излияния хандры и желчи и лишь изредка правдивые и неискаженные картины” (в качестве примера того, “как мало сходится Некрасов с народом в своих сочувствиях и воззрениях”, Страхов указывал на пожелание поэта, чтобы русский народ понес с базара Белинского и Гоголя!).

В том же 1869 году выступил со своими “разоблачениями” Тургенев, опубликовавший в “Вестнике Европы” известные письма Белинского… А вслед за тем тот же Тургенев, раздраженный недостаточно почтительным, по его мнению, отзывом “Отечественных записок” о поэзии Полонского, выступил в “Санкт-Петербургских ведомостях” с открытым письмом, в котором говорилось: “Я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихи Полонского, когда самое имя Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях “скорбной” музы г-на Некрасова ее-то, поэзии-то, и нет на грош”.

И такие отзывы, к стыду русской литературы, нигде не вызвали в свое время резкого, негодующего отпора, – опять-таки, быть может, потому, что все наиболее свежие литературные силы группировались вокруг “Отечественных записок”, во главе которых стоял сам Некрасов. Даже в середине семидесятых годов не в редкость было встретить на страницах журналов нелепое мнение, будто Некрасов приобрел себе значение в родной литературе “только оригинальными, новыми мотивами, а отнюдь не силой и глубиной содержания”; или даже – будто “поэзия Некрасова вырабатывалась в либеральных редакциях, служила постоянно как бы иллюстрацией направлений, попеременно

господствовавших в известной части журналистики”. О поэме “Кому на Руси жить хорошо” один критик писал (и тоже нигде не встретил отпора): “Поэма эта принадлежит к таким, о которых гораздо приятнее было бы хранить молчание”.

Между тем бурная жизненная карьера нашего поэта приближалась к окончанию. Мы говорим – бурная, но должны с прискорбием констатировать, что о второй половине жизни и деятельности Некрасова биографы его знают, в сущности, не многим больше, чем о первой (о годах ранней молодости). Они знают, главным образом, историю журналов, которые издавал Некрасов, общественную сторону жизни и деятельности поэта в зрелую пору, но почти не имеют представления о личной и тем более интимной его жизни. Единственным ключом к последней являются его собственные лирические признания, слишком мало удовлетворяющие наше любопытство. Они дают, впрочем, достаточно оснований утверждать, что, и достигнув в конце жизни условий материальной обеспеченности, Некрасов не приобщился к сонму тех “счастливцев”, которых с таким упорством отыскивали на Руси его знаменитые “странники”. Известно, например, что семьею он до конца дней не обзавелся и только на смертном одре сочетался законными узами с той женщиной, которую считал своей женой; с каких, однако, пор и какие именно отношения были у него с этой женщиной, каков был ее нравственный облик и даже как ее звали (в предсмертных стихах он воспевал ее под именем Зины) – все это вопросы, на которые у нас пока нет ответа…

Улыбнулась ему слава знаменитого писателя, но и к славе, как мы видели, было подмешано много горькой отравы; колючие терновые иглы, вплетенные в лавры блестящего венка, слишком больно давали о себе знать, – и, быть может, только перед самой смертью, в горячих изъявлениях любви со стороны молодежи, Некрасов узнал наконец подлинную беспримесную сладость широкой популярности.

Не дала ему судьба и крепких физических сил, рано надломленных лишениями и борьбой всякого рода. Еще в середине пятидесятых годов у него открылась какая-то серьезная горловая болезнь, вызывавшая опасения чахотки; сам Некрасов уже считал себя приговоренным к смерти… Но поездка в Италию и в Африку остановила болезненный процесс (хотя голос после того навсегда остался глухим и хриплым). С начала семидесятых годов появились тяжелые желудочные боли (рак), которые в конце концов и свели поэта в безвременную могилу. Ни новая поездка на юг (в Крым), ни операция, сделанная знаменитым Бильротом, – ничто уже не могло принести спасения, и на

пятьдесят шестом году жизни, в полном расцвете таланта, 27 декабря 1877 года Николай Алексеевич Некрасов скончался. Похороны его были чуть ли не первым на Руси громким и торжественным проявлением общественных симпатий к любимому писателю, – гроб его, несмотря на суровый морозный день, провожала еще невиданная в таких случаях в Петербурге толпа народа в четыре-пять тысяч человек.

Слухи о тяжкой болезни поэта и последовавшая затем смерть его вызвали настоящий взрыв непритворной скорби в обществе и особенно среди молодежи, – тотчас же смолкли и все враждебные голоса в печати; со страниц газет и журналов в течение целого года не сходили сочувственные некрологические статьи и разборы стихотворений Некрасова; вышли и отдельные сборники, посвященные памяти поэта… Но уже в 1878 году на страницах либерально-буржуазного “Голоса” возобновлено было в самой резкой форме нападение: появились, в пяти огромных фельетонах, нашумевшие в свое время “Критические беседы” Евгения Маркова… Эти широковещательные беседы, якобы беспристрастно отмечавшие недостатки и достоинства некрасовской поэзии, а в сущности стремившиеся доказать ее ничтожность и эфемерность, имели большой успех в тех общественных и литературных кругах, которые и до того с плохо скрываемой неприязнью относились к необычайной популярности Некрасова. Марков задал тон и собрал материал, можно сказать, для всей последующей отрицательной критики, и отзвуки его “Бесед” явственно слышались даже двадцать лет спустя, в двадцатилетнюю годовщину смерти поэта. Мы думаем, не мешает поэтому (особенно ввиду того, что “Голос” представляет теперь библиографическую редкость) изложить с некоторой подробностью критику Евгения Маркова.

Некрасов, утверждает критик “Голоса”, – поэт предшествовавшей освобождению крестьян эпохи. Проникнутый сознанием коренного общественного зла, он видит роковое безобразие даже в сферах жизни, по-видимому, не имеющих связи с крепостным бытом. У читателя получается впечатление какого-то предвзятого намерения не останавливаться ни на каких других явлениях мира, кроме излюбленных (?) автором. Преувеличение, неестественность, надутость, сентиментальность и риторика – роковые последствия такой односторонности… Этим поэт вызывает и несочувствие читателя к той самой среде, которая выставляется жертвою безобразия… Защищая русский народ против Некрасова, Марков в качестве примера приводит стихотворение “Родина”, где будто бы чудовищно неверно утверждение, что русские крепостные “завидовали житью

последних барских псов”… “Кто, например, узнает, – патетически восклицает критик, – ту охоту, которая обыкновенно наполняла радостью удали не только охотника-барина, но и псарей его, и лошадей, и собак (какова собачья идиллия! – *Авт.),* в неверной и мрачной картине “Псовой охоты” Некрасова?” Лира Некрасова – вообще патологическая лира; песни “О погоде”, например, – не столько поэзия, сколько “воркотня досужего капризника”… Изображения народного быта, народной души и даже народная речь в его стихах полны фальши, неискренности и тенденциозности. Многочисленные примеры, приводимые Евгением Марковым, мы опустим; упомянем лишь об одном, которым критики Некрасова пользуются охотно и доныне. В стихотворении “Тишина”, говоря об окончании Крымской войны, поэт прибегает к такому образу: *“Прибитая к земле слезами рекрутских жен и матерей,* пыль не стоит уже столбами над бедной родиной моей”. Г-н Андреевский, следуя примеру Маркова, подсмеивался: “Этот невообразимый дождь, освеживший большую дорогу, совершенно нестерпим” (“Литературные чтения”, 1891). Между тем прекрасная и сильная, на наш взгляд, метафора Некрасова становится вполне понятной, если взять ее в связи со следующими стихами из той же “Тишины”:

…Над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон;
Русь поднялась со *всех сторон,*
Все, что имела, отдавала
И на защиту высылала
Со *всех проселочных путей*
Своих покорных сыновей…

Как известно, из этих “покорных сыновей” лишь “немногие вернулись с поля”, и поэт имел полное основание сравнить с потоками дождя слезы, пролитые рекрутскими женами и матерями… Казалось бы, над чем тут зубоскалить?…

Некрасову по плечу, продолжает Марков, только сказочное геройство, баснословный идиотизм, голубиное смирение, кровожадность тигра. Он не постигает средних типов.[28] Искренним мыслителем-поэтом и беспристрастным наблюдателем-художником он бывает только один час из десяти натянутого и надуманного сочинительства. Причина всего этого – жизнь в кружках, которые действовали не путем поэтического и художественного воспитания общества, а методом логического

убеждения, отталкиваясь от научных знаний, практических интересов… Под влиянием кружков Некрасов поднял знамя тенденциозной поэзии, но, как все выдуманное, насильственное, как всякий ублюдок, она осуждена остаться без потомства: “Лишенная одушевляющего огня и искренности, как может она холодными процедурами своего творчества зажечь божественную искру в новом организме?…”

Некрасов, по мнению Маркова, до того тенденциозен, до того свыкся с необходимостью громить крепостное право, что чуть ли не готов отрицать самый факт освобождения (игривая мысль, которую охотно повторяли потом господа Андреевские, Платоны Красновы и им подобные). Некрасов был поэтом исключительно отрицания, отрицание же есть только преходящий момент. В творчестве поэта были скудны элементы любви (!)… “Побольше любви!” – в заключение укоризненно наставляет Марков Некрасова, а кстати уж и “родственного ему” Щедрина, умевшего только “отрицать” и совсем не умевшего любить…

Тому, кто знает Некрасова и Щедрина, конечно, нечего разъяснять, как много самодовольной узости и приторной фальши скрывалось в этих “либеральных” назиданиях!

За последние двадцать лет в критике появилось мало нового и интересного о некрасовской поэзии. Следует отметить разве упомянутую уже статью г-на Андреевского, в которой, быть может, много злого остроумия и красивых софизмов, но конечный вывод которой таков: “Вклад Некрасова в вечную сокровищницу поэзии гораздо меньше его славы, его имени”.

С середины восьмидесятых годов, когда литература заметно охладела к мужику, к народу, имя Некрасова все реже и реже стало мелькать на страницах журналов. Выплыли на сцену вопросы личного совершенствования, личной морали; шумно прокатилась мишурная волна “эстетического идеализма” и доморощенного декадентства… Увлечение марксизмом обещало, казалось, значительное отрезвление: возврат искусства к реализму, к социальным интересам, хотя и с перенесением центра внимания с мужика на городского пролетария; но тут случилось нечто странное и неожиданное: марксизм в собственном, беспримесном его виде почти нисколько не отразился на нашей художественной литературе и на художественной критике… Заявляли о себе и шумели одни только марксисты “не настоящие”, марксисты-индивидуалисты, марксисты-ницшеанцы, марксисты-символисты… Эти господа, понятно, не могли любить Некрасова с его простой, бесхитростной поэзией, чуждой всяких современных кривляний и вычур!

К счастью, движение вперед, в сторону все большей

демократизации литературы и искусства, продолжается безостановочно и непрерывно, и видимые зигзаги и отступления в нашем общественном развитии не имеют в последнем счете особенного значения. Литература у нас не впервые отстает от жизни, и судить о вкусах и настроении наиболее бодрых и жизнеспособных кругов общества по мнениям господ Андреевских, Мережковских, Бердяевых e tutti quanti[29] было бы совершенно неосновательно. Некрасов ни в каком случае не может быть назван забытым и отжившим свое время поэтом. Сборники стихотворений его, довольно дорогие по цене, раскупаются с прежней, если не большей быстротою. Но если бы даже среди “верхов” нашей много всяких видов видавшей интеллигенции и действительно можно было подметить некоторое охлаждение к “музе мести и печали”, то жизнь с каждым днем все заметнее выдвигает вперед нового, свежего читателя, могучего как своею численностью, так и всепобеждающей верой в торжество света и правды. Не сегодня-завтра этот новый читатель заполнит всю жизненную сцену, и никакого сомнения не может быть в том, что для Некрасова он явится “читателем-другом”.

Как ночные призраки, разлетятся тогда и растают туманом все современные “символизмы”, поиски “новой красоты” и “новых настроений”. Жажда правды – вот настроение, которое одно имеет под собой твердую почву. Светлое и широкое будущее предстоит поэтому “музе мести и печали”, не устававшей твердить:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая – страдания народа
И что поэзия забыть ее должна, —
Не верьте, юноши: не стареет она!

ГЛАВА IX. ОБ ИЗДАНИЯХ НЕКРАСОВА

Не знаем, в каком числе экземпляров выпускались каждый раз стихотворения Некрасова при жизни поэта, но за двадцать лет (1856–1877) они выдержали шесть последовательных тиражей. Первое посмертное издание, вышедшее в свет в феврале 1879 года в шести тысячах экземпляров, разошлось в два года, а в 1881–1882 годах выпущены были, одно за другим, два дешевых компактных издания, каждое по 10 тысяч экземпляров. То и другое распроданы были с изумительной быстротой… Цена следовавших затем изданий была, к сожалению, повышена с трех до пяти рублей; но и они все долго не залеживались, несмотря на то что печатались в 10–15 тысячах экземпляров каждое. В1902 году вышло уже *восьмое* посмертное издание, отпечатанное в 20 тысячах экземпляров. Таким образом, в общем за четверть века, протекшую со дня смерти Некрасова, было выпущено около *ста тысяч* экземпляров его сборников, и если принять в расчет, с одной стороны, сравнительно высокую цену книги (в два с половиной раза превышающую цену, например, стихотворений Надсона), с другой – прискорбно-продолжительный и лишь в самое недавнее время, по счастью, окончившийся отлив внимания в русском обществе к доле народной массы, то цифра эта представится довольно-таки внушительной…

Очевидно, широкие круги читающей публики не перестают питать горячий интерес к поэту, над гробом которого раздавались восторженные молодые голоса: “Он выше, выше Пушкина и Лермонтова!”

“Года минули, страсти улеглись”. Для Некрасова настал уже суд потомства. Никто, вероятно, не скажет теперь, что он “выше” Пушкина и Лермонтова, но зато, думаем, никто, кроме ошалелых декадентов, не разделит и мнения знаменитого художника, “друга юности”, а потом “врага” поэта, несправедливо утверждавшего, будто “поэзия даже и не ночевала в его стихах”; никто не решится теперь назвать эту поэзию гнева и печали явлением эфемерным, фальшивым и дутым (мнение, которое не раз, в пылу партиозных увлечений, высказывалось современными Некрасову критиками). Лишь немногие в настоящее время не согласятся, что из всего легиона русских поэтов XIX века один только Некрасов по праву может стать рядом с Пушкиным и Лермонтовым как в смысле общественного значения своей лирики, так и энергии и силы поэтического вдохновения.

К сожалению, те, кто является посредником между обществом и писателем, издатели сочинений Некрасова, заботились все время лишь о собственном преуспеянии и ровно ничего не сделали для того, чтобы связь между публикой и ее любимым поэтом росла и крепла. Конечно, слова эти не относятся к давно уже покойной сестре поэта, Анне Алексеевне Буткевич, под наблюдением которой вышло первое посмертное издание стихотворений (в 1879 году), – издание во всех отношениях замечательное, сделанное любящей и умелой рукой. Главное достоинство его составляли обширные и в высшей степени ценные примечания С. И. Пономарева, в основу которых положены были собственноручные заметки поэта, сделанные им на полях авторского экземпляра предыдущего издания стихотворений. Г-н Пономарев руководился следующим справедливым соображением: “О стихах такого жизненного содержания, как некрасовские, весьма интересно было бы знать многое – и поводы, по которым написаны пьесы, и лица, которых очерчивает поэт, и то впечатление, которое возбуждали его произведения в нашем обществе, в нашей журналистике в минуту своего появления, и пр. Но вполне удовлетворить этим требованиям *пока* невозможно”. В настоящее время невозможность эта, по всей вероятности, значительно уменьшилась, а между тем позднейшие издатели Некрасова не только не расширили примечаний С. И. Пономарева, но даже и совсем их устранили… Вначале это сделано было под предлогом экономии места в дешевом однотомном издании, но потом, с возвратом к изданию дорогому (двухтомному) и переходом его в собственность г-на Суворина, примечания были просто забыты… И не вспоминают о них вот уже двадцать лет! К чему? Ведь книжка и без того хорошо расходится…

С той же целью удешевления биография Некрасова, составленная г-ном Скабичевским, была сокращена в 1881 году до одной трети, то есть до бледного краткого перечня всем известных фактов, и в таком виде, без малейшего изменения, она преподносится читателю и до наших дней…

“При всем старании сделать новое издание как можно более достойным памяти покойного поэта, – писала сестра его в предисловии к изданию 1879 года, – я не считаю себя вполне достигшею предположенной цели: *иное было невозможно по недостатку времени, многое оказывалось пока несовременным* ”.

Ни тем, ни другим мотивом нынешние издатели не могли бы отговориться, а между тем за столько лет владения духовным наследством знаменитого поэта они не только не “старались” сделать новые издания “более достойными его памяти”, но

сделали их, по сравнению с изданием 1879 года, положительно менее достойными. В деле изучения текста стихотворений Некрасова, восстановления стихов, замененных точками или искаженных в угоду “независящим обстоятельствам”, а также разыскания новых, не напечатанных при жизни поэта пьес, – не говорим уже о корреспонденции Некрасова, – ими ровно ничего не сделано, несмотря на прямое и категорическое утверждение А. А. Буткевич (а она ли не знала истинного положения вещей!), что “многое” оставалось еще сделать… Досадно подумать, что упущено двадцать пять лучших лет: сколько рукописей, стихотворений, вариантов, писем могло бесследно затеряться за этот промежуток времени!

Но издатели могут, пожалуй, указать в свое оправдание на первую же страницу первого посмертного издания, где поэт ясным русским языком просит своих наследников *ничего,* кроме указанного *им* самим, не перепечатывать после его смерти.

Справедливо; нужна только маленькая поправка. “Завещание” это написано Некрасовым еще в 1864 году и, естественно, должно относиться лишь к стихам, сочиненным *до* этого года, главным же образом – к сборнику “Мечты и звуки” и другим, большею частью неудачным, стихотворным опытам 1838–1844 годов. Если распространить смысл некрасовского распоряжения и на весь последующий период (1864–1877), то придется, например, назвать самоуправством поступок Салтыкова, через три года после смерти поэта напечатавшего в “Отечественных записках” его поэму “Пир на весь мир”, которую при жизни автора цензура не соглашалась пропустить. По-видимому, так именно и рассуждают нынешние собственники издания: если они и перепечатывают эту поэму в “Собраниях стихотворений”, то потому только, что их предупредила сестра поэта, успевшая незадолго до смерти распорядиться внести “Пир на весь мир” в первое дешевое издание… Зато все новые стихотворения Некрасова, опубликованные позже, современными издателями упорно игнорируются.[30]

Нельзя в заключение не посетовать на дороговизну книги, стоимость которой, право, не грешно бы уменьшить по крайней мере в полтора раза… При пятирублевой цене надолго еще сохранят свою силу горькие слова поэта:

Тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! не внемлет он и не дает ответа…

notes

Примечания

1

Тургенев вспоминает: “Особенным юмором отличался цензор Ф., тот самый, который говаривал: “Помилуйте, я все буквы оставлю, только дух повытравлю”. Он мне сказал однажды, с чувством глядя в глаза: “Вы хотите, чтоб я не вымарывал? Но посудите сами: я не вымараю – и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю – кому от этого какая печаль? Были словечки, нет словечек… Ну, а дальше? Как же мне не марать?! Бог с вами!” (“Литературные и житейские воспоминания”). Очевидно, Тургенев имел в виду того же Фрейганга.

Здесь и далее звездочкой со скобкой обозначены примечания автора, а простой звездочкой – примечания редактора данного переиздания.

2

То есть жизнь.

З

Повет – уезд, часть области или губернии со своим управлением *(Словарь В. Даля)*.

То есть разоренных и озлобленных рабов-крестьян.

5

Сам Некрасов называл 1837 год, год смерти Пушкина, но точное указание сестры его (20 июня 1838 года), по-видимому, более соответствует действительности.

6

Несмотря на подзаголовок “Детство Валежникова”, сразу видно, что в поэме “На Волге” Некрасов рисует собственное детство. По первоначальному плану стихотворение это составляло часть большой поэмы “Рыцарь на час”, и пьеса, теперь известная под этим заглавием, называлась в прежних изданиях “Из поэмы *Рыцарь на час,* гл. VI: «Валежников в деревне»”.

7

В воспоминаниях Белоголового о графе Лорис-Меликове, который в юности (именно в начале сороковых годов) жил одно время с Некрасовым, приводится любопытное показание графа Лориса о том, что мать поэта изредка, тайком от мужа, присылала сыну небольшие суммы денег.

8

До чего мало знакомы у нас с биографией Некрасова, показывает следующая цитата из одной недавней юбилейной статьи: “"Мечты и звуки" – так назывался первый сборник, доставивший Некрасову некоторую *известность* и *порядочную* материальную выгоду. Но уже *раньше того* (?!) он писал в самых разнообразных жанрах, стихами и прозою, *начиная с водевилей* и заканчивая критическими разборами ученых книг” (“Научное обозрение”, 1903, январь).

9

Сведения эти взяты из статьи г-на В. Горленко “Литературные дебюты Некрасова” (“Отечественные записки”, 1878, декабрь), дающей, к сожалению, лишь очень краткий и далеко не полный перечень и характеристику прозаических опытов Некрасова.

10

Вот небольшой образчик. Баба-Яга пытается соблазнить героя Булата:

Да и чмок его тут в губы…
Чуть Булат с досады зубы
Тут колдунье не разбил:
“Чтобы чорт тебя любил! —
Закричал он. – Я не стану…
Я люблю одну Любану”.
Ха-ха-ха! Да хи-хи-хи!
И пустилась во смехи:
“Полно, миленький дружочек,
Мой прекрасный жизненочек,
Чем же я тебе худа?
Где же лучше красота?
Рот немножко широконек,
Нос изрядно великонек,
На макушке есть рога,
Словно кость одна нога
Да немножко ухо длинно,
Но зато ведь я невинна!
Вот что главное, дружок…”
И опять Булата чмок!
Чуть не выл Булат со злости…

11

Забытое в настоящее время стихотворение.

12

Букв.: “с великой крупинкой соли”; с иронией *(лат.)*.

“Памяти приятеля” (1853); “О погоде” (1859); “Ликует враг” (1866); “Медвежья охота” (1867); “Кому на Руси жить хорошо” (1873); не вошедшая до сих пор в собрание стихотворений Некрасова поэма “Белинский”… На смертном уже одре поэт не раз вспоминает своего учителя и записывает в дневнике от 16 июня 1877 года: “Любимое стихотворение Белинского было -

В степи мирской, печальной и безбрежной…”

14

Внешний облик *(лат.)*.

15

Спасайся, кто может *(фр.)*.

16

Когда в конце 1902 года я впервые печатал в своей статье о Некрасове эту записку, цензурные условия << режима Плеве" заставили меня выбросить из нее несколько строк и ослабить некоторые отдельные слова и выражения (да и то покойный Н. К. Михайловский боялся, что цензор ее не пропустит). В настоящее время у меня нет, к сожалению, в руках подлинной записки Елисеева.

17

По другим сведениям, император Александр II не любил Муравьева, и благодаря только этому последний не мог дать полную волю своим реакционным стремлениям.

18

Все дальнейшее, кроме двух-трех заключительных фраз, было уже давно цитировано Н. К. Михайловским в его статье о Некрасове.

19

“Тройка”, “Огородник”, “Псовая охота”, “Родина”, “В неведомой глуши”, “Пьяница”, “Отрадно видеть”, “Старушке”, “Когда из мрака заблужденья”, “Перед дождем”, “Секрет”.

20

Напечатано в августовской книжке “Отечественных записок” за 1845 год.

Когда еще твой локон длинный
Вился над розовой щекой
И я был юноша невинный,
Чистосердечный и пустой —
Ты помнишь: кой о чем мечтали
С тобою мы по вечерам,
И не забыла ты: давали
Свободу полную глазам.
И много высказалось взором
Желаний тайных, тайных дум;
Но победил моральным вздором
В нас сердце искаженный ум.
И разошлись мы полюбовно,
И страсть рассеялась как дым…
И чрез полжизни хладнокровно
Опять сошлись мы – и храним
Молчанье тягостное…
Так-то!
Когда б к избытку сил младых
Побольше разума и такта (?) —
Не так бы вял и горько-тих
Был час случайной поздней
встречи,
Не так бы сжала нас печаль,
Иной тоской звучали б речи,
Иначе было б жизни жаль…

(15 мая 1845 г. Н. Н-в.)

21

Мимоходом напомним почтенному критику, что ведь и Некрасов, в “земном” характере протеста которого не может быть сомнения, отнюдь не почувствовал себя “как рыба в воде” с наступлением “эпохи реформ”…

22

Теперь, после опубликования подлинных записок княгини М. Н. Волконской, из предисловия к ним мы знаем, что Некрасов писал вторую часть своих “Русских женщин”, строго придерживаясь документальных свидетельств. Не один упрек критики в тенденциозной и сентиментальной выдумке сразу и навсегда отпадает… Между прочим Алтай оказывается фигурирующим и в подлинных записках княгини Волконской, так что Некрасов повторил только ее ошибку; но у него употреблено двусмысленное выражение *“полетела* с кибиткой”, тогда как княгиня Волконская пишет, что лошади *“понесли* ее с самой высокой горы Алтая”. См. интересную статью А. Г. Горнфельда *“Русские женщины* Некрасова в новом освещении” (“Рус. Богатство”, 1904, № 4).

23

“Тишина”, “Размышления у парадного подъезда”, “В столицах шум”, “Ночь”, “На Волге”, “Деревенские новости”, “Крестьянские дети”, “Похороны”, “Коробейники”, “Свобода”, “Зеленый шум”, “В полном разгаре страда”, “Орина”, “Мороз, Красный нос”, “Железная дорога”, “С работы” и прочие.

24

Святая простота! *(лат.)*.

25

В высшей степени курьезными представляются нам утверждения г-на Ашешова (“Образование”, 1902, № 12), будто любовь Некрасова к народу и вера в него “были смутны и неопределенны, ибо были лишь романтическими терминами народничества без ясного анализа по существу”. – “Некрасов, как и романтики народничества, даже те, которые резко подчеркивали свое тяготение к определенному трудящемуся слою, представление о народе имели слишком общее, быть может, только немногим более рельефное, чем люди 40-х годов, когда они мечтали об освобождении крестьян как массы вообще (!), независимо от составляющих ее элементов”. – “Как романтик неопределенной народной скорби Некрасов устарел. Его тоска не может развивать (?) элементы нашего мировоззрения, стремящегося быть точным и определенно-устойчивым”. – “Но за исключением этой особенности (неопределенности народной скорби и самого народа) у Некрасова все же остается целое колоссальное богатство мотивов, в которых ярко светится любовь не к народу вообще, а к обездоленным, несчастным и униженным”. Путаница “точных и определенно-устойчивых” взглядов самого г-на Ашешова в последних, подчеркнутых нами, словах выступает особенно ярко. Любопытны также его чисто эстетические взгляды. “В сфере любви и личных настроений Некрасов никнет” (это, например, в “Трех элегиях” или в “Я посетил твое кладбище”?!)… “Его сатиры умрут скоро, если еще не умерли” (что не мешает строгому критику в другом месте назвать классическими “Размышления у парадного подъезда”)… “Его мелкие лирические стихотворения долговечны еще менее”… Одним росчерком развязного пера г-н Ашешов, очевидно, подписывает смертный приговор таким общепризнанным перлам русской поэзии, как “Родина”, “Ликует враг”, “Не рыдай так безумно”, “Душно! без счастья и воли”, “Баюшки-баю”, “О муза, я у двери гроба” и пр., и пр.!

Не забыты гуманным поэтом даже животные, так много страдающие от людской жестокости (“На улице”, “О погоде”, “Дедушка Мазай и зайцы”, “Соловьи”, “Мороз, Красный нос”, “С работы”).

27

Только в феврале 1903 года г-н Антонович счел наконец нужным и возможным покаяться (в “Журнале для всех”). “Я откровенно сознаюсь, – пишет он, – что мы ошиблись относительно Некрасова. Вопреки нашим опасениям, он снова пошел твердым и бодрым шагом по своему прежнему пути… Он не изменил себе и своему делу, но продолжал вести его горячо, энергично и успешно, – за что ему честь, слава и вечная память в летописях русской литературы!” – “Общим итогом и характером своей поэтической деятельности Некрасов вполне искупил свои недостатки. Его огромные заслуги во много крат превышают и покрывают его однократное отречение; всею своею деятельностью он заслужил полное всепрощение”. Признания довольно-таки запоздалые, но… лучше поздно, чем никогда. Отметим, кстати, странное понимание г-ном Антоновичем (в той же статье) чисто поэтических заслуг Некрасова: “Против поэзии Некрасова раздавались и раздаются только голоса тех, которые судят о ней исключительно с эстетической точки зрения или даже не с общеэстетической, а с узкоэстетической, исключительно *лирической* точки зрения и которые воображают, не только вопреки литературе всех веков и народов, но и вопреки риторике и пиитике, будто вся поэзия состоит только в лирике. Некрасов не лирик (?); следовательно, он не поэт”. Оказывается при этом, что г-н Антонович главным призванием лирики считает воспевание красоты, неземных сфер и заоблачных высей; сюжеты ее песен должны, по его мнению, непременно быть светлы и жизнерадостны… Удивительное понимание лирики!

Некрасов изображается здесь как ультраромантик. Но вся поэзия его, глубоко реальная и правдивая, служит красноречивым опровержением такого мнения. Упомянем лишь об одной стороне некрасовской поэзии, которой до сих пор нам не пришлось коснуться. Это – любовная лирика. У поэтов предшествовавших, не исключая Пушкина и Лермонтова, любовь изображается всегда в праздничные ее моменты, являясь как бы принаряженной и приподнятой; Некрасов перенес любовь с неба на землю, в обстановку будничных, реальных человеческих отношений; он рисует чувства людей именно среднего, а не героического типа.

И им подобных *(ит.)*.

“Время-то есть, да писать нет возможности”, “Вам, мой дар ценившим и любившим” (автограф, подаренный студентам), “Смолкли честные, доблестно павшие”, “Вчерашний день часу в шестом” и пр. Поэму “Пир на весь мир” следовало бы печатать по полному тексту, изданному в 1879 году “Народной волей”, с песнями “Средь мира дольнего”, “Кушай тюрю, Яша”, “Беден, нечесан Калинушка” и пр. Напомним еще, что, по указанию покойного Гербеля (см. посмертное издание 1879 года, т. IV, стр. CXLVI), Некрасов собирался перед самой смертью взять для нового собрания своих стихотворений пять юмористических пьес из “Свистка”, до сих пор остающихся там погребенными. Не следовало бы, думается, пропускать и двух предсмертных стихотворений, имеющихся в “Примечаниях” С. И. Пономарева, а теперь всеми забытых: “Пускай чуть слышен голос твой” и песни из вновь задуманной главы “Кому на Руси жить хорошо”.